

Горис
ерлин
Б

*Современная
проза*

щимес
щимес
щимес
щимес
Щимес

Борис Берлин
Цимес (сборник)
Серия «Самое время!»»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40277381
Борис Берлин. Цимес : рассказы: Время; Москва; 2018
ISBN 978-5-9691-1826-3*

Аннотация

Эту книгу можно назвать антологией обреченных. Обреченных друг на друга. Двоих, у которых иногда получается, а иногда нет – как у всех, вот только красок в их жизни гораздо больше. А значит, и счастья, за которое все равно приходится платить...

Содержание

Лев Аннинский. Цимес Бориса Берлина – лакомство или наоборот?	5
От автора	13
ЦИМЕС. Рассказы	15
Вначале было слово	15
Ню	31
Котенок под проливным дождем	55
Симонетта – нежность Тосканы[1]	79
Привет, счастливчик!	101
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Борис Берлин

Цимес (сборник)

© Берлин Б., 2018

© Состав, «Время», 2018

* * *

Лев Аннинский. Цимес Бориса Берлина – лакомство или наоборот?

«– Наоборот? Это как?

– Как вам объяснить... Некоторые великие мастера умели так изобразить на полотне взгляд – с какой стороны ни помотришь, глаза с портрета всегда направлены прямо на тебя. Всегда. Неотрывно. А вы смотрите в глаза, а взгляд поймать – невозможно. Наоборот...»

Ждешь цимеса, непременно, обещанного, законного лакомства... Получаешь что-то... наоборот.

«– Хорошее кончается... Обязательно кончается?

– А как же иначе? Оно всегда кончается... Это только плохое тянется, и никуда от него...

– Но есть же на свете счастливые люди?

– Я не встречала...»

Артистичный переклик женской и мужской «половинок» души – мелодический принцип Бориса Берлина. Трепетное переглядывание. Попытка контакта... Проба счастья...

Борис Берлин – из того поколения, которое теперь получает наконец и Россию, и весь мир – в законное наследство Это поколение не застало ни войны, ни послевоенной сталинской диктатуры. Им сейчас – пятьдесят «с хвостиком». Или, ес-

ли очерчивать другую границу, – шестьдесят «без хвостика». Наследники!

Но дело не только в том, что входят в жизнь наследники, – это, так сказать, хронологическая неизбежность. Дело в том, что они получают миропорядок, которого не чаяли дожидаться ни их отцы, ни деды, ни вообще страна, в которой они выросли. Страна, которая вышла, покалеченная, из эпохи мировых войн и смертельных смут. Да и до того веками или отбивалась от захватчиков, или готовилась от них отбиваться.

И вот наконец ситуация переменялась. Призрак атомной катастрофы заставил человечество отодвинуться от этой грозящей жути. Семь десятков лет – без войны! Неслыханно, невиданно, нереально...

И встает перед наследниками эта нереальность – как новая, непробованная реальность.

И что же? Как вживаются наследники в эту неведомость? Чувствуют счастье, которое им привалило?

Да наоборот же! Чувствуют боль, которой грозит обернуться неслыханное счастье.

«– Про разноцветную жизнь – да, все понятно. Но счастье наше неизмеримо больше того, что может представить себе обычный человек. Разве это рассказать возможно? Все равно получится только бледная, ускользающая тень. Тень нашего счастья».

Любимый человек, как и обещал, возвращается после службы.

«Поначалу не узнала: вместо левой руки – пустой рукав, вдоль левой половины лица – шрам».

Инерция кровавого века?

А это что за инерция? Героиня в метро на эскалаторе «... споткнулась уже почти на самом верху. Еще бы несколько секунд – могла без руки остаться. Даже понять не успела, как это произошло, увидела только, как ступени уходят куда-то – под...»

Вот оно, мирное время. Повернешь голову не туда – катастрофа. Если и не летальный исход, то на всю оставшуюся жизнь – оставайся калекой...

А если головы не поворачивать, так что будет? Счастье?

«— Он был пьяный, уселся на перила, а я... просто толкнула его в грудь. Несильно, слегка. И он упал с десятого этажа. Вот и все...»

Смерть – рядом.

«Счастью всегда что-нибудь мешает. Всегда».

Это ожидание неотвратимой беды и выносит из нового миропорядка молодое поколение.

«Вечная тоска от невозможности овладеть красотой». Можно устроить жизнь, можно найти спутника или спутницу... Любовь все равно глубже. Глубже всего, чем можно овладеть. Или хотя бы понять.

И неизбежно рядом с ожиданием: «Люби!» – ожидание конца: «Убей!»

Любовь и гибель – вместе. Неразрывно. Словно в природе

человека, агрессивной и безжалостной, есть что-то, делающее счастье несбыточным. Или эта несбыточность – в самой природе мироздания, которое объявлено мирным?

Прикосновение к любви – прикосновение к смерти. Неизбежно! Читаешь тексты Бориса Берлина – и уже от его имени и фамилии веет какой-то германской интеллектуальной неотвратимостью... Хотя в поле его зрения – вовсе не германцы, а непредсказуемые славяне. Более же всего – евреи, привыкшие находить опору в ситуации, изначально и окончательно беспочвенной.

«– В каждой стране небо разное. Поэтому и люди разные, понимаешь? Русские не такие, как французы, итальянцы отличаются от немцев. Вот, например... Небо Франции – оно легкомысленное, веселое – безмятежная лазурь, а на ней штрихи, мазки, птичьи всплески – сплошной импрессионизм. В России глубокое, как колодец – синева молчалива, а на дне может быть и счастье, но вдруг – тяжесть и нечем дышать...»

Дело не в той или иной национальной традиции. Дело в той бытийной трагедии, которую прозревает Борис Берлин в самой попытке людей стать счастливыми. Счастливыми – в любви.

Модель такая: раньше с нами никогда такого не было. И после нас такого уже не будет. И окружает счастливую пару ощущение пустоты – круговой бесконечности. Эта пустота не заполнена ничем. Она зияет. И пахнет гибелью.

Смерть – естественный, закономерный и неизбежный финал любви.

«– Умереть не для того, чтобы не жить. Умереть для того, чтобы обрести покой. А обрести покой здесь, среди такой красоты, что может быть лучше?»

«– Ты плачешь, значит, испытываешь боль, значит – любишь».

«Одиночество приносит с собой пустоту. Сама по себе пустота не страшна, но как только ты пытаешься ее заполнить, делается все хуже и хуже, делается просто невыносимо».

«– Смерть – это не наказание, это избавление, пропуск в рай».

«Труднее всего понять, что счастье кончилось. Особенно, если оно еще длится».

«...за всем она следила так, словно от этого зависело, наступит или нет конец света. Вернее, делала вид, что еще не наступил. Счастье ведь ужасно странная штука: не важно, приходит ли оно, покидает ли – и в то и в другое одинаково трудно поверить».

«Жизнь слишком беспощадна, мир слишком несправедлив...»

«– Тебе когда-нибудь было так хорошо, что хотелось умереть?»

«– Желать абсолютного счастья – грешно».

«Чем больше счастья, тем меньше времени на него отпущено. И кто объяснит – почему?»

«...мы в самом деле все время рассуждаем про любовь и даже вроде бы хотим ее, а сами – боимся ее. Да и как тут не бояться... Разве можно остановить время?»

«Я люблю тебя, а любовь – это как химическая реакция, когда два человека, встретившись, сливаются мыслями, привычками, запахами – всем. Правда, иногда получается гремучая смесь. И что тут поделаешь, если она взрывается? Всё от любви...»

«– ...любовь – это бесконечная величина: чем дольше длится счастливое сегодня, тем дольше не наступает завтра, то есть время останавливается. А значит, наступает смерть».

«– Люди не умирают. С концом одной жизни наступает другая. Это как пересесть из старой лодки в новую, чтобы плыть дальше по реке времени.

– Куда плыть? И зачем?

– За тем, что каждый из нас стремится найти. Свое отражение, свою тень, а на самом деле – себя. Ведь каждый человек лишь половина целого, половина того, чем может быть, вот он и ищет недостающую половину. Но одной жизни для этого бывает мало».

«Нюта любит повторять, что, встретив друг друга, мы с ней нашли бога, хотя и она, и я знаем, что на самом деле бог – это лишь вечные поиски его. Во всем. Обретения, потери и вечная жажда. Бог – это все мы, отчаявшиеся, голодные, несправедливые, ищущие».

«– Никогда не бойся того, что придет. Ведь все уже было,

все было...»

«— Адамчик, а что такое любовь?

— Наверное, то, что у нас с тобой. Ведь так?

— Раз наверное, значит, ты не уверен.

— Не знаю, я ведь кроме тебя никого еще не любил. Тогда скажи сама.

— Любовь, миленький, это взаимная капитуляция.

— Выходит, вся остальная жизнь — это война?

Да, так оно и есть на самом деле. Вся жизнь война, и только иногда случаются маленькие передышки. Вот как ты сейчас...»

«— Когда ты меня бросишь, это будет нестерпимо больно. Это будет невыносимо...»

«С самого начала, кроме нежности — что-то еще...»

«Наверное, так оно и должно быть, ведь на то оно и счастье, что понять его невозможно. Не успеешь задуматься, а оно уже и улетело...

А бывает, чтобы счастье — и без подвоха?...»

Может, достаточно?

Понятно ли, почему для меня так существенно понимание счастья Борисом Берлиным и почему его исповедь так важна в нынешней литературной ситуации? В безоблачном варианте и осмыслять нечего. А если рядом в душе дремлет и просыпается зверь? И только смерть становится избавлением от этой напасти?

Трагическая готовность к «напасти» позволяет вынести ее

даже тогда, когда вместо обещанной сладости цимеса судьба подкладывает тебе что-нибудь... «наоборот».

От автора

От автора

*Книга эта - всего лишь чувственный
цимес, приправленный озорством и
философией, незамысловатый рассказ про
любовь и войну, несколько поспешных мыслей о
взаимной капитуляции, маленькой смерти
и поиске точки джми.*

*Книга эта - блюдо для бедняков, и
пусть никто из вас не пресытится.*

БББ

ЦИМЕС. Рассказы

Вначале было слово

ГЛАВА САМАЯ ПЕРВАЯ

«Легче воздуха мои мысли о тебе...»

Журавлев морщится, захлопывает папку, бросает на меня взгляд исподлобья и недовольно произносит:

– Ты в самом деле уверен, что мне это надо читать? Что мне стоит это читать?

Господи, встать бы, выхватить у него из-под носа рукопись, повернуться и хлопнуть дверью. И забыть сюда дорогу. Только вот... Приходится жить в условиях окружающей реальности, данной нам в ощущениях. А ощущения почти напрямую зависят от чего? Вот именно. Их – деньги – пока еще никто не отменял. Правда, когда-то давно, в прошлом веке, что-то такое вроде было. Обещали вроде, но так до сих пор и...

– Слушай, у тебя настроение плохое? С Машкой что-то? Или живот прихватило? Ты меня сколько лет знаешь, а? Сколько ты моих книг издал и сколько ты, между прочим, на

них заработал? Я к тебе не просто как к издателю пришел, а как к моему издателю, понял?

– Вот я тебе как твой издатель и говорю, другому бы не сказал. Ты посидел, в окно на дождь поглядел, о бабе своей или чужой подумал, и пошло-поехало. Глядишь, через месяц-два повесть, а то и поболее. И вагон самомнения. А мне что делать? У меня от вашей гениальности уже руки по утрам трясутся. Только прочесть это все...

– Коля... – я несколько секунд молчу, а потом тянусь к лежащей перед ним папке с рукописью. – Так, ясно. Я пошел.

Его рука на рукописи не двигается. Наконец он устало изрекает:

– Ладно, ладно, не гоношись. Прочту. Погляжу я твои «мысли легче воздуха»... В ближайшие дни не обещаю, но прочту. Скоро. Созвонимся. Пока. Иди...

Я выхожу из издательства и иду домой – к своей любимой. Вот приду и обниму ее.

– Здравствуй, птичка моя.

А она уткнется всем своим лицом прямо мне в шею, в мой колючий шарф, и замрет на секунду. И тоже обнимет меня прохладными тонкими руками и зашепчет прямо в ухо разные свои глупости. И негромко – только ей одной – я скажу:

– Знаешь, любимая, а я все-таки отнес в издательство эту повесть.

– Какую? Неужели «Легче воздуха»? – спросит она, задох-

нувшись.

– Конечно. Ведь это лучшее, что я написал.

– Зря... – поникнет она своей светлой головкой. – Я же тебя просила.

– Да. Но я так и не понимаю – почему?

– Потому что она... Она слишком счастливая, эта твоя повесть.

– Ну и что?

– Люди могут не так ее понять и, прочитав, натворить глупостей. Потерять голову, понимаешь?

– Нет, не понимаю.

– Ну как же, сам подумай. Живет себе человек, живет. Думает, что счастлив и все у него хорошо. И вдруг оказывается, что все это время ему показывали черно-белое кино. А тут оторвался он от экрана, окно распахнул, а жизнь-то вокруг – разноцветная. И так ему обидно сразу. Так обидно, что он от этой самой обиды в это самое окно и...

– Все равно не понимаю. То есть про разноцветную жизнь – да, все понятно, мы с тобой ее уже вон как долго проживаем. И счастье наше неизмеримо больше того, что может представить себе обычный человек. Я лишь попытался о нем, но разве нас с тобой рассказать возможно? Все равно получится только бледная, ускользающая тень. Тень нашего счастья.

– Нет, получилось слишком хорошо, слишком небесно, не по-людски, – и она по-детски упрямо сожмет губы, а я поце-

люю ее в самый их уголок, над ним как раз родинка, – чтобы улыбнулась.

А может... Может, этого ничего и не будет. И лишь холодный дом встретит меня. Пустой холодный дом, говорящий сквозняк, пустые вешалки и пустые бутылки. Да еще фотография в рамке с треснутым стеклом. Ее опрокинуло ветром, и стекло треснуло. А на ней улыбается женщина, и та же родинка. Только стекло треснуло – сквозняк...

В общем, все было, есть и будет, как я захочу. Как я напишу, так и будет.

А пока – вот:

«Легче воздуха мои мысли о тебе»...

ГЛАВА СЛЕДУЮЩАЯ

«Легче воздуха мои мысли о тебе»...

– Журавлев, это что за «легче воздуха»? Снова чью-то рукопись принес? Ну что ты опять все в прихожей навалил? Бумаги, бумаги... Сколько можно работу домой таскать? И грязи от нее... Лорд, фу! Уже не только у меня, у собаки на нее аллергия. Лорд, я кому сказала! Фу! Отдай, собака! Отдай, слышишь! Ах ты... А теперь марш на место! На место пошел, быстро! Вот порвет он тебе однажды какую-нибудь рукопись так, что неприятностей не оберешься, может, хоть тогда до тебя дойдет...

В руках у нее та самая папка со следами собачьих зубов,

с беспорядочно торчащими из нее листьями. Она раскрывает ее, поправляет, подравнивает листы и вновь останавливается на первой строчке:

«Легче воздуха мои мысли о тебе...»

Она пробегает глазами еще несколько слов, потом несколько строк, потом присаживается на табуретку прямо здесь же, в прихожей, погружается в чтение, начинают шевелиться губы...

– Маш, ты что-то сказала? Прости, я не слышал, у меня тут вода шумела в душе. Маш!

– Что, Коля? Да нет, ничего, ничего... Там ужин на столе, иди поешь...

– Маш, ты рукопись положи на тумбочку в спальне, может, я перед сном почитаю, если не усну, ладно?

«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыхание. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово – любовь. Нашего слова еще не придумали...»

Она вздыхает, смотрит в окно, в сумерки. Опускает глаза, продолжает читать дальше: страница, еще одна, еще...

Как странно выходит. Столько лет, а будто и не было ничего. Ни радости, ни горя – ничего.

– Милый мой, милый, – шепчут губы. – Митя...

Дрожат пальцы, перелистывая страницы...

– Девушка, простите! Вы не могли бы мне помочь?

Маша оборачивается и видит худого мужчину спортивного вида. Еще молодой, а виски седые. И глаза такие, что хочется верить. Синие, как...

– А в чем дело?

– Да в принципе ничего особенного. Видите ли, я за вами наблюдаю все время, пока едем, а как вас зовут, не знаю. Имени вашего не знаю. Должно же мне быть известно, кого я сегодня вечером пригласил... в кафе и потанцевать. Скажем, в девятнадцать часов? А еще лучше – давайте я вас провожу. По дороге и познакомимся. Вам когда выходить?

– Мне... на следующей.

– Ну тем более, мне тоже. По-моему, это судьба, вам не кажется?

Оказалось, он живет через дом от нее. Она была студенткой второго курса, а он офицером-афганцем. По дороге от остановки она его спросила:

– А вы в отпуске?

– Почти, да не совсем. Командировка, груз сопровождал к месту назначения. Ну и заодно десять суток дома.

Это потом, много позже, она узнала, что такое груз двести, а тогда...

Им было весело вместе и так – звонко...

Целых полторы недели. Он нежил ее, любил, лелеял. На руках носил, как пушинку, – сильный. Он был, как никто потом, после. Единственный.

На вокзале, прощаясь, он сказал:

– Жди. Мне уже немного осталось, полгода, чуть больше. Вернусь – никому тебя не отдам.

И не вернулся. Вернее, вернулся, но не через полгода, много позже и не к ней.

Маша увидела его случайно, совершенно случайно, на другом конце города, у гастронома. Поначалу не узнала, а потом... вместо левой руки пустой рукав, вдоль левой половины лица шрам. И все – снова. Он ведь и одной рукой так мог обнять, что она себя забывала. И глаза его те же, синие, как...

Через месяц родители вошли к ней – счастливой – в комнату и сказали:

– За увечного замуж – никогда. Думать забудь.

Это бы и ничего, она все равно бы не послушалась, но отец и с ним поговорил. По-мужски. Объяснил. И все кончилось, как будто и не было никогда. Месяц ходила черная, зареванная, да не ходила, а дома почти все время просидела, выходить не хотелось, жить не хотелось...

А потом...

С Николаем ее познакомил брат. Молодой перспективный журналист, да еще московская прописка...

«Это значит, если мне сейчас сорок семь, то ему должно

быть... пятьдесят пять. Помнит ли? И что мне, даже если помнит? У меня вон сын взрослый, Николай, дача двухэтажная. Господи, да при чем здесь дача-то... Митенька, родной мой, как же я все это время, так долго, без тебя, а?»

А почему рядом с ним она таяла – и не вспомнить. Только было, было что-то, чему и названия нет. Легче воздуха.

И куда подевалось потом?

И ЕЩЕ ОДНА

– Мам, ты что, плачешь, что ли? Случилось что?

– Да ничего, сыночек. Это я лук резала.

– Здесь, в прихожей?

– Так я как раз сюда и убежала от лука-то. Злой попался...

– А-а-а...

– А ты что хмурый такой?

– Все нормально, мам, не обращай внимания.

– Обедать будешь? Я пойду разогрею.

– Нет, не хочу, спасибо.

– Так ведь ты же не обедал, я знаю. Не обедал, да?

– Ну не обедал, не важно.

– Даже очень важно. Иди умойся пока, я позову.

Сашка посмотрел на лежащую рукопись, взял в руки.

«Наверное, опять отец с работы. Муть какая-то... Будешь тут хмурым, новости такие получать. Обухом по темечку...

А, мне пофиг, сама дура. Сама пусть и разбирается, как хочет. Не первая и не последняя. Так, что тут? Точно – муть. Легче воздуха... Ну и что там легче воздуха?»

– Саня, Санечка! Обед на столе, кушать иди.

В ответ – тишина. Нет ответа. Сын сидел на той же табуретке в прихожей, читал рукопись. Мать он даже не слышал.

Маша постояла, посмотрела на него. Долго стояла, минуту, не меньше. И ушла – молча. Ничего, ничего, пусть почи-тает, долго ли разогреть еще раз. Пусть...

Он перевернул последнюю страницу и застыл, уставившись в угол. Потом поднялся и, войдя в свою комнату, достал сверху, из шкафа, из самого дальнего угла, старую коробку от компакт-дисков, а из нее тощую пачку купюр. Пересчитал, вытащил из кармана сотовый телефон, поглядел на фото на дисплее – Ленка улыбается. Это еще до... Когда же он ее снимал, а? Прошлым летом вроде. Вот время летит. Звонит.

– Лен, послушай. Забудь все, что я сегодня наговорил, ладно? Ну сама подумай, я просто слетел с катушек. Так ведь любой бы... Забудь, и все. Мы по-прежнему вдвоем и вместе. Я тебя люблю, не думай. И денег достану. Если не хватит... короче, достану, не беспокойся. И все будет нормально. Просто будем осторожнее, и все. Справимся. А ребенок... Ну куда нам сейчас, ни денег, ни жилья. Успеем.

Жизнь только начинается. И пожалуйста, не надо, не начинай снова реветь, ладно? Ну Лен...

ГЛАВА ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ

«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыхание. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово – любовь. Нашего слова еще не придумали. Да и какая разница? Кто бы мне сказал раньше, что за одно-единственное прикосновение к женщине я... И я протягиваю к тебе руки – через всю прошедшую без тебя жизнь».

Журавлев лежит на спине, заложив руки за голову. За окном темно. Ночник уже давно потушен, лишь на потолке мутное, желтоватое пятно света от уличного фонаря. На тумбочке рядом она, та самая, «легче воздуха». Рядом, спиной к нему – Маша. Спит, даже дыхания не слышно. Она вообще спит очень тихо. И почему-то спиной к нему. Всегда спиной к нему. А вот Женя...

Почему счастье – это всегда, почти всегда прошлое? Только и слышишь: я был счастлив, я была счастлива, они были счастливы. Был, была, были... Как будто счастье – это еще и функция времени. А что, может быть. Очень даже может быть. Скорее даже не функция времени, а функция молодости.

сти. Но и времени – тоже. Потому что... ну сколько мне тогда было лет, уже за сорок, какая, к черту, молодость. Все-го-то двенадцать лет прошло. А счастье было, и понимание этого было тоже. Но все равно... Нежелание причинять боль, нежелание ее испытывать, ломать устоявшийся порядок вещей. Санька... Как у всех и всегда. Неоригинально. Только вот она, Женя, никогда не поворачивалась ко мне спиной. Ни разу. А однажды мы так и уснули – в поцелуе. Губы в губы... Чего уж теперь. Поздно. Двенадцать лет и один инфаркт тому назад. И сын, который вырос без отца. Лешка, Алексей Николаевич... Нет, не Толстой, но и не Журавлев. Да и знает ли он вообще? Все-таки хотелось бы. Я бы ему помог, я ведь кое-что могу в этой жизни, пока еще могу. И было бы у меня два сына. А? Завтра прямо с утра найду их, Женю найду, единственную женщину мою, сына от нее – моего сына. Всех на уши поставлю, Сереге позвоню, если что, мало ли, они же и уехать могли, а у него доступ есть к закрытым базам данных. И вообще... Всю сеть перелопачу. Чем черт не шутит? А может? Завтра... завтра... зав...

Маша проснулась с улыбкой – ей снился Митя. Он держал ее за руку и улыбался тоже. И что-то говорил, не важно что. Еще они куда-то шли... Она открыла глаза – уже светло, должно быть, часов девять, не меньше.

– Журавлев, доброе утро! Ты еще дома? Журавлев!

Наверное, уже ушел на работу. Она села, потянулась всем своим, очень еще даже ничего, телом, увидела укрытые оде-

ялом его ноги, повернула голову.

И – закричала...

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

В тот день я вернулся домой поздно. Было дождливо и ветрено, и вечер. За окнами громыхало, и наш пес скулил, потому что боялся грозы. А ты – ты встретила меня в прихожей и поставила передо мной тапочки.

– Ну что? Как дела с твоей рукописью? С той, «Легче воздуха...». Напечатают? Ну что же ты молчишь?

– Понимаешь ли, никто ничего мне не сказал. Им там не до меня, владелец издательства вчера умер. Ночью. Совершенно неожиданно – лег спать и не проснулся. Вроде сердечный приступ. Все говорят – легкая смерть. Жена его утром проснулась, а он – уже...

– Вот ужас, а? Беда...

– Н-да... Бедлам там у них сейчас страшный, полный бедлам. Где рукопись – неизвестно, да и не искал никто. Кого она сейчас интересует? Я так думаю, потеряна она, не найти. Потеряна окончательно. Ну ничего, я еще распечатаю. Человека вот жалко. Он неплохой мужик был, правда. На самом деле...

– Бедный он и бедная жена. Представляешь, вот так проснуться и... А рукопись твоя – я ее наизусть помню. И даже если бы она совсем-совсем потерялась – не страшно.

Потом прижалась ко мне, улыбнулась и произнесла странную фразу:

– Ах, милый мой, если бы ты только мог любить меня поменьше.

– Это как? Почему?

– Потому что все всегда кончается. И я не переживу, если...

– Ну уж это нет, дудки. Бог не допустит. Да и я не допущу тоже. Я могу, ты же меня знаешь.

– Я знаю тебя. Я знаю про тебя все...

Потом мы долго сидели в нашем любимом кресле. Я в кресле, а ты у меня на коленях. Твои губы искали мой голос. Ты прямо так и сказала:

– Говори со мной, а я буду целовать твой голос.

И я снова рассказывал про книгу, про нас с тобой и вообще про все. И было ужасно щекотно от твоих губ. А когда ты уснула, я поднялся и отнес тебя в спальню и смотрел на тебя спящую. И вдруг понял, что это такое: любить тебя меньше. О чем это...

Дело ведь даже не в будущем, все гораздо проще. Ты боишься настоящего, нашего, сиюминутного настоящего. Того, что невозможно испытывать восторг каждую минуту, всегда. Есть быт, работа, болезни, десятки и сотни других – важных и не очень – дел, мелочей. А если думаешь все время только об одном...

Ты сказала мне как-то:

– Не хочу тебя растерять...

Это ведь когда – по кусочкам. Рассыпать.

И еще:

– Тебя во мне столько, что ничего больше и не умещается.

А когда возникал разговор о детях, ты сразу испуганно замолкала, и я замолкал тоже. Ведь сначала была – ты. И потом тоже – ты. Хотя, конечно, я мужчина, я сделан по-другому. Просто по самой природе вещей в меня вмещалось еще многое. Сначала. Пока я не стал все больше и больше замыкаться на тебе. Короткое замыкание – в самом прямом смысле. И ты меня тормозила и отвлекала сама от себя. Может, беспокоилась за меня, может, за себя, – ведь зависеть гораздо удобней, чем быть за кого-то в ответе. Ты и не умела никогда быть в ответе. Зато как ты умела – любить.

Именно поэтому легче воздуха мои мысли о тебе.

Если бы не сквозняк.

Если бы...

Впрочем, я отменил «если бы». А значит, и бояться тебе нечего.

Я написал про нас книгу. И любой, кто прочтет ее, проживет каждую секунду нашего счастья по-своему. И пусть.

А ты просто повторяй за мной:

«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыхание. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово – любовь. Нашего слова еще

не придумали. Да и какая разница? Кто бы мне сказал раньше, что за одно-единственное прикосновение к женщине я... И я протягиваю к тебе руки – через всю прошедшую без тебя жизнь. Через прошлое, настоящее и будущее. Через все, что не случилось и не случится уже никогда. Но все равно, все равно, все равно – что сделала ты со мной, что сделал с тобой я? Забудь, забудь это слово – любовь...»

Повторяй.

И время – остановится.

ГЛАВА САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ

Почти через год после смерти Журавлева Маша споткнулась на эскалаторе, уже почти на самом верху. Еще бы несколько секунд, всего несколько – могла без руки остаться. Она даже и понять не успела, как это произошло, увидела только, как ступени выравниваются и уходят куда-то – под. Может, она бы и испугалась, но чья-то очень сильная рука подхватила ее, подняла в воздух и поставила обратно уже по ту сторону – на обычный, неподвижный пол.

– Что же вы в таком месте падать надумали, девушка? Лучше не надо, можно, знаете ли, без руки остаться.

Худой, заросший седой щетиной нищий смотрел на нее и усмехался. Пустой левый рукав. Глаза – синие, как...

«Девушка, простите! Вы не могли бы мне помочь?»

«За увечного замуж – никогда...»

«Легче воздуха мои мысли о тебе...»

– Митя, – прошептала она, – Митенька... Господи...

Вдруг вся жизнь, та самая, которая так и не случилась, вернулась, будто и не уходила никогда. Только несказанных слов оказалось так много, что они встали комом в горле, но она все-таки выдохнула:

– Ты же не знаешь еще, у нас ведь с тобой внук родился. Счастье-то какое. Внук, понимаешь, мальчик. Митенькой назвали...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Девочки, я тут какие-то листочки нашла. Они, видно, в этой папке были, почти совсем рассыпались. Я собрала. Что делать-то с ними теперь? Может, что-то нужно?

– Да выбрось ты их, Кать. Здесь бумаг этих... Тут ведь раньше, до нас, издательство какое-то было или редакция...

– Так может, это рукопись чья-нибудь, что-то нужно? Название «Легче воздуха».

– Наверное, про летчиков.

– Нет, не похоже. Похоже – про любовь...

– Тогда читай вслух. Про любовь – это всегда интересно. А там посмотрим...

Светлая головка склоняется над нашим счастьем, и я слышу, как она произносит:

– Легче воздуха мои мысли о тебе...

Ню

– Я бы хотел тебя нарисовать. Можно?

– Легко...

Так я познакомился с Ню.

Ее звали Аня. Ню – потому что рисовал я ее почти всегда обнаженной, вернее голой, – понимаете, в чем разница? У профессионалов не принято говорить «голой», принято – «обнаженной», «полуобнаженной»... «Завтра у меня обнаженка...» Натурщицы голыми не бывают. Со всеми до нее так и было. И со всеми после. И даже во время. А вот с ней...

Она сидела на лавочке – маленькая, зареванная, совершенно одна. Куча народу проходила мимо, и никто даже не обращал на нее внимания, ее просто не видели. Ни опухшего от слез лица, ни рук, теребящих сумочку, ни высоченных каблуков ее туфель.

Знаете, с чего начинаются войны? С необдуманных поступков. То-то и оно...

Я не просто ее увидел – я подошел. Но почему-то, вместо того чтобы спросить, не нужна ли ей помощь, или хотя бы протянуть носовой платок, я вдруг произнес вот это самое:

– Я хотел бы тебя нарисовать...

Так все и началось...

Я звал ее по-разному: то Нюрой, то Нюшей, иногда просто Ню. Ей было все равно. Кто-то думает, что рисовать об-

наженную женщину – значит обязательно с ней спать. Это не так. Врачи тоже довольно часто имеют дело с обнаженным женским телом, но никому и в голову не приходит... Конечно, профессия. Конечно, бывает все. И даже нередко, но художник – это тоже профессионал, и его отношение к натурщице – отношение профессионала. И тот свет, то чудо, которое потом все мы видим на полотне, это не отражение натурщицы как таковой, а отражение того неуловимого «нечто», которым ее наделил художник. Это не она. Это – его ощущение ее, то есть совершенно разные вещи. Ну и умение это нечто изобразить.

Ню без одежды была неопишима. Она была невероятна. Все эти рассуждения совершенно к ней не относились. Они любили друг друга – Ню и свет. Ее можно было рисовать в любой позе, при любом освещении и в любом ракурсе – свет всегда падал на нее, ложился на нее, обтекал ее так... В общем, она начинала светиться сама.

Каким образом я смог почувствовать это неким верхним чутьем, и подошел к ней, и спросил, и – услышал в ответ?.. Не знаю.

Я почти никогда не просил ее принять определенную позу, она просто снимала с себя одежду, выходила из-за ширмы и вставала, садилась или ложилась так, как хотела в данный момент сама. И в мастерской становилось светлей.

А уж если она молчала во время сеанса...

В своем обычном состоянии она была ужасная болтушка.

Аутист, который вдруг заговорил, и за все годы молчания... При этом никаких авторитетов, никаких правил и совершенно точечный кругозор.

Но иногда мне удавалось упросить ее помолчать. Или у нее вдруг было такое настроение... И тогда на два часа я чувствовал себя равным Рембрандту, или Босху, или Леонардо...

Любил ли я ее?

Я и сейчас ее люблю...

Но в тот год я в своем отношении к ней оставался прежде всего художником. С ней я был способен на многое и понимал это. И желание, которое владело мной, – положить ее на холст, написать ее. Написать ее так...

Ню стала моей Моной Лизой, моей голубкой, моей девочкой на шаре.

Моей мечтой о себе...

– Гоша, уже давно пора сделать перерыв, слышишь? У меня нога затекла. Левая... И в туалет. И рефлексор у тебя барахлит, почти не греет, холодно...

Сколько ни прошу не называть меня Гошей – бесполезно.

– Ну почему Гоша?

– А почему Нюша?

– Так ведь ты Аня!

– Ну а ты?

– А я – Марк, но логика у тебя железная. Женская логи-

ка...

Может, она и в самом деле забывала, как меня зовут...

Вначале она приходила редко, раз в полторы-две недели. Плела что-то про строгого отца и занятия в институте. Я даже не помню наш первый раз. Наверное, тут же, прямо на полу, на брошенном на пол чехле от подрамника или в углу, на старом продавленном диване... Как обычно. Девчонка – еще одна, только и всего...

Мне на самом деле было безразлично и про институт, и про отца, и про личную жизнь. Она ведь тоже дистанцию держала, и вполне со знанием дела, вполне. Она как ежик была, еще до меня, иголки наружу и в свою жизнь – ни-ни... Да и у меня ни времени, ни желания не было на нежности всякие. Натурщица от бога, одна на миллион, а остальное... Главное и единственное: только бы она продолжала приходить. Чтобы снова увидеть игру света на ее груди и бедрах, прозрачность кожи, тень, заплутавшую в подмышечной впадине... И – рисовать, рисовать, рисовать...

Ее единственный каприз: с дороги чай с баранками и сахаром вприкуску – чтобы похрустеть, затем сразу же за ширму и – к станку...

А потом... С началом зимы она стала появляться гораздо чаще, причем безо всяких видимых причин – наши отношения остались прежними, но... В общем, я постарался и кое-что о ней узнал. Ну хотя бы заботясь о собственной... безопасности.

Аня, как оказалось, жила с бабкой, родители умерли. Год назад бросила институт и... Что может молоденькая девчонка в ее положении, и чего вы об этом не знаете? А сейчас она встречалась с каким-то... и подрабатывала в ночном клубе. По крайней мере, пластика движений у нее была от природы такая...

За это время я сделал с нее сотни эскизов всем, чем только возможно – от угля до пера и акварели, и два портрета маслом, в довольно необычной манере. Думаю, что в этом все дело. За манерой я потерял ее. Настолько был уверен, что само ее присутствие на холсте и есть чудо, что чуда не произошло. Не случилось...

Я прислонил к стене оба портрета, а между ними поставил ее. И раздвинул шторы...

...Пока она бегала в магазин, я изрезал их на куски. Потом мы сидели за столом, и она смотрела на меня, как никогда раньше. На этом же столе она впервые стала моей. Я не оговорился, мы были любовниками уже несколько месяцев, но первый раз моей Нью стала именно тогда...

Наутро мы уехали в Крым, к морю.

Две недели мы жили в старом, покосившемся теткин дом, почти на самом берегу. Он достался мне в наследство, и я с самого начала не знал, что с ним делать. Заниматься ремонтом слишком дорого, продавать слишком дешево. Я называл его: теткин дом. Так он и стоял...

Мы валялись на теплом песке, грызли семечки, покупали на рынке парное молоко и мохнатые персики. Вечером разводили костер и пекли картошку и молодую кукурузу. И странное дело, Нью вдруг стала меня стесняться. Как только я это почувствовал, я захотел ее по-настоящему. Как не хотел женщину уже очень давно. Та чертовщина, которая возникла между нами... Не знаю, что это такое, может и...

– А маленьких чаек я называю знаешь как? Чаинками.

– Что? Что ты сказала?

– Я говорю, что маленьких чаек...

– А-а-а-а...

– А ты умеешь ловить ртом виноградники?

– Я... не знаю. А зачем?

– Как зачем? Чтобы поймать!

– Нет, не умею.

– А я вот – запросто. Гляди.

– Нью-ю-ю-ш... Я сплю, Ньюша...

... – Гоша...

– Что?

– А почему ты уже не ругаешься, когда я тебя Гошей зову?

– Привык...

– Вот и я тоже. Если привыкну к кому, потом не отдерешь.

Хорошо, что к тебе привыкнуть невозможно, а то бы я, наверное, влюбилась...

– Почему невозможно привыкнуть?

– Так ты разный. Вот как море. Ах, Гоша, Гоша, море ты

мое...

... – Скажи... А ты часто влюблялась?

– А я все время влюблена.

– Как это так – все время?

– Вот так – все время, а что?

– И сейчас влюблена?

– Конечно.

– В кого, можешь сказать?

– Да в парня одного. Так, ничего особенного.

– Ты спишь с ним?

– А как же. Тут самое главное обмен жидкостями.

– Это как? Какими такими... жидкостями? – сон сразу как рукой...

– Ну... всякими. Пот, сперма, слюна... Еще вдохновение...

– А это еще что такое?

– Что-то типа оргазма по-вашему.

– По-нашему...

– Сложно объяснить, Гоша. Да и ни к чему тебе.

Она опустила голову на подушку, прижалась ко мне так крепко-крепко и уснула. Прямо в старой вылинявшей футболке. Улыбаясь.

А я только под утро...

...Луна глядела на нас потому, что на море глядеть ей уже, наверное, надоело. Нью лежала рядом, обессиленная и нездешняя. И улыбалась как-то вовнутрь. А мне вдруг

страшно захотелось узнать, о чем она думает, когда, как сейчас – сразу после...

Прежде мы никогда не спали вместе, в одной кровати рядом. Мы спали друг с другом, но в другом смысле, по-другому. А когда – засыпать и просыпаться...

Я подумал, что рай, очень может быть, существует...

Когда она перестала быть для меня обнаженной натурой? Телом? Нью?

Иногда – сразу после – мы болтали.

... – Гоша, скажи... А вот ты, когда портреты мои резал...

– Ну?

– Ты сильно... переживал?

– Переживал...

– А как?

– Что как? Переживал, и все.

– Понимаешь, об этом лучше говорить.

– О чем об этом?

– О смерти.

– О смерти? А кто умер? Не мы с тобой – это точно...

– Картины. Ты же их убил. Значит, они умерли. А тех, кто умер, надо вспоминать, иначе они умирают на самом деле...

Я поворачиваю к ней голову и вижу только ее силуэт на фоне ночного неба. Ну вот откуда у нее...

– Ты же не хочешь, чтобы они умерли совсем?

– Наверное, нет...

– Тогда говори...

— Ну как тебе объяснить... Было два момента. Первый — я никогда раньше не работал в такой технике. Очевидно, это в какой-то момент стало доминировать, а я не заметил. И получилось — техника ради техники. Это, конечно, упрощенно, но тем не менее... И потом — это не главное...

— А что главное?

— Пожалуй, излишняя самоуверенность. Вот... ты приходила, позировала, я на тебя смотрел... Иногда просто смотрел, даже ничего не делал, ни одной линии, ни одного мазка — ничего. Я тебя впитывал, понимаешь. Ну вот... Мне когда-то давно попались стихи, там строчка была такая, я ее запомнил. «Твоих мелодий гибельная суть, твоих шагов ленивое начало...» Лишь когда ты в меня входила и наполняла меня, и твои мелодии начинали звучать, и я слышал эти шаги, я принимался рисовать. И однажды мне показалось, что в этом уже нет необходимости, что ты во мне — всегда, что я могу в любой момент, не глядя, передать этот свет — тебя и из тебя. И эту твою мелодию. Иллюзия... Мне показалось, что я до конца познал то, что познать нельзя. Свет — неисчерпаем. Но оказалось, что и ты неисчерпаема тоже... Слишком сложно, да?

— Послушай, Гоша... А хочешь, мы это повторим, ну, еще раз. Я тебе помогу, подскажу...

— Ты — мне? Что ты можешь подсказать?

— Что надо сделать, чтобы все получилось.

— Да? И что же?

– Ты должен... сам меня раздеть. Попробуй – раздеть меня – сам. Вот увидишь...

– Как ты сказала? Раздеть?

Но Ньюша уже спала...

Я все никак не мог на нее наглядеться. Вот просто... Даже подглядывал, надеялся увидеть нечто такое, чего еще... Потому что было всегда мало.

Она была невысокого роста, ямочки на щеках, румянец, совершенно незащищенные плечи. Копна каштановых волос. И самое главное, у нее были потрясающе правильные пропорции тела. Она вся была как золотое сечение – идеальная соразмерность во всем – и необыкновенный, только ее оттенок кожи. А если до нее дотронуться. Положить на нее ладонь. Провести по ней... Порой мне было жаль, что я не скульптор, мне хотелось передать не просто форму, цвет, тепло, но – чудо прикосновения к Нью...

Как-то раз она уснула на берегу, а к ночи у нее подскочила температура – она, конечно же, обгорела. Порывшись в теткинских шкафах, я нашел какую-то, на мой взгляд, подходящую мазь, перевернул ее, сонную, на живот и стал осторожно натирать ей спину и плечи. И вдруг поймал себя на нежности к ней. В эту секунду Нью кончилась. Или, наоборот, началась...

...Утром, двигаясь на мне, она наклонилась, поцеловала

меня в губы и произнесла только одно слово:

– Марик...

Мы начинались вместе – Нью и я...

– А ты уже приезжал сюда с женщинами?

– Приезжал.

– А ты был уже женат?

– Угу, был...

– А хочешь еще раз?

– Жениться? Нет...

– Вот и я нет.

– Ты еще молодая... Но вообще-то и молодые тоже хотят замуж. Все хотят.

– А я не все!

– Это я уже успел понять. Так почему нет?

– Это больно.

– Что – жениться?

– Да нет. Ты балда... Больно потом, когда хорошее кончается.

– Обязательно кончается?

– А как же иначе? Оно всегда кончается. Это только плохое тянется, тянется и никуда от него...

– Но есть же на свете счастливые люди...

– Я не встречала...

Солнце палило. И ее горячий живот под моей рукой. А губы, вот они, наклонись и пей. И я пил. Пожалуй, действи-

тельно, и я не встречал тоже...

Так что очень может быть, она...

Однажды перед самым закатом мы случайно набрали на заброшенный яблоневый сад. Покосившийся забор из прогнившего штакетника, и дыр больше, чем этого самого забора. Но сад... А какой там стоял запах...

Нюша носилась между деревьями, хватаясь за стволы и радуясь как ребенок. Подбирала валявшиеся повсюду яблоки и ела. А они хрустели у нее на зубах...

– Смотри, сколько их тут, – она повела рукой вокруг. – Они же просто пропадут и все, сгниют, жалко. Давай возьмем с собой, ну хоть немного, хоть на сегодня, а?

– А во что? У нас же ничего нет, Нюша...

– Я сейчас что-нибудь придумаю, подожди минутку...

Она шустро стянула через голову свою белую майку, простую, на резинке, юбку задрала до подмышек – получилось платье. Не слишком длинное, до середины бедер...

– Вот, из этого можно сделать узелок, видишь?

– Вижу... – я смотрел на ее голые плечи. – Знаешь что, верни-ка юбку на место...

– Но я...

– Я сказал – верни юбку на место, слышишь...

Она стояла передо мной – смущенная, враз покрасневшая и почему-то беспомощная. Я ее такой...

– Ну...

– Я... Я стесняюсь.

– Кого? Здесь же никого нет.

– Ты есть. Я тебя стесняюсь...

– Почему? Я что, тебя голой не видел?

– Это совсем другое, это работа. А сейчас...

– А ночью? Тоже работа?

– Ночью темно...

– Ну и что? Что изменилось?

– Ты не понимаешь...

– Ну так объясни.

Она подняла на меня глаза и несколько секунд молчала. Потом отвернулась.

– Если ты часто будешь видеть меня голой, я тебе надо-ем... тело мое тебе надоест. Я ведь для тебя – тело. Ты его рисуешь. Ты его... – она запнулась. – А я не хочу... надоест. Хочу, чтобы ты каждый раз удивлялся мне, вот...

Передо мной стояла – смущенная, покрасневшая и вся целиком моя – Ню...

– Я понял. А теперь верни юбку на место...

...Ню медленно подняла руки, ухватила ткань и потянула ее вниз. Ее глаза были полны слез.

– Еще, – сказал я. – Сними ее совсем, все сними... Вот так, да...

... – Что... дальше? – спросила она, хлюпая носом.

– Подойди к дереву и прижмись к стволу. И не хлюпай ты, дуреха. Чуть опусти голову и чуть вправо... левую ногу...

все... замри и не шевелись...

Я знал ее тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала: попробуй раздеть меня сам... Я сделал это – ее руками, и все в самом деле получилось. Я написал ее «Портрет в солнечном свете», хотя солнца почти уже не осталось – закат, закат, закат... Но она – светилась. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной-единственной кистью – нежностью.

Такой же слепящей и обжигающей, как...

Назавтра мы уезжали.

Умри мы вместе, одновременно, в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому что этого «потом» не было бы вообще...

Город ждал нас. И жизнь резво взяла меня в оборот, так что уже на следующий день Ню оказалась почти призрачным существом и жить без нее стало возможно. Не слишком весело, все-таки я к ней изрядно привык, но возможно. Да и куда мне ее – в заваленную подрамниками и старыми холстами мастерскую с завтраками на этюднике? И отсутствие стабильного заработка... Даже при моем нездоровом отношении к светящимся женщинам. Правда, не светилась больше ни одна из... Ни как Нюша, ни вообще...

Ее не было месяца три. На звонки не отвечала, сама не

звонила, ее просто не стало. Я, конечно же, мог ее отыскать, но когда представлял, как являюсь к ней неожиданный-незванный... Возможно, застану ее не одну, а с...

В один прекрасный день она появилась и осталась аж на две недели. И разумеется, это были совсем другие две недели, не те – крымские, морские, яблочные. Снегопад и сосульки...

– Ньюша, где ты была все это время?

Она молча стояла, прижавшись ко мне всем телом, и, по моему, дрожала.

– Замерзла?

Несколько раз подряд судорожно кивнула.

– Ладно, потом расскажешь, проходи, чаю горячего, с банками, да?

... – Ну? Теперь рассказывай все, слышишь? Все. Где была, что делала?

– Была...

– Я звонил, а ты не отвечала...

– Не хотела...

– Допустим. А что сейчас?

– Ничего особенного. Вот только... бабушка умерла. Теперь у меня никого...

– Как это никого, а я? – но этого я не сказал...

... – Слушай, Марик, можно я поживу у тебя недельку, а то мне пока некуда идти...

– Живи, разумеется. А почему некуда идти? У тебя же вроде квартира была?

– Да. Там сейчас Алик...

– Кто это – Алик?

– Ну тот парень. Который ничего особенного. Помнишь?

– И почему он там, а тебе некуда идти?

– Не знаю. Не хочет уходить. Но я разберусь...

...Как-то само собой мы оказались в постели, и резанула воспоминанием линия загара внизу ее живота... И нежность, тенью проскользнувшая на кончиках пальцев. И вкус яблок на ее губах. И что не моя. А может, все это мне только...

Утро теперь состояло из омлета и кофе, день – из оформления очередной выставки в очередном доме культуры, вечер – из усталости, душа и легкого ужина, ночь – из Нью... Жизнь то ли остановилась, то ли еще не началась.

Чем она занималась дни напролет, я не спрашивал, но видно было, что дома не сидела. Не то чтобы меня это совсем не интересовало, но... Некое подсознательное мужское нежелание раздавать авансы. Чтобы не подумала, не строила иллюзий. Чтобы...

Встречала почти всегда одинаково – улыбкой и голыми плечами. Она знала мое отношение к ее телу и показывала мне его украдкой, словно случайно, ненароком, дарила себя. И я перестал ее рисовать. Совсем...

Вечерами мы болтали, даже не помню о чем. О ерунде.

– Ньюш, скажи... А вот ты пришла именно ко мне. Почему?

– А что, мешаю, да? – и сразу испуганные глаза, вот-вот рванется вещи собирать.

– Да нет, ну что ты, в самом деле, я просто так спрашиваю, ну... Да живи ты сколько хочешь...

Она выдыхает и мгновенно успокаивается – верит.

– А что тебе непонятно-то? Что – почему?

– Ну... У тебя своя жизнь, свои друзья. Мало ли. Неужели среди них – никого...

– Дело совсем не в этом.

– А в чем? Я и спрашиваю...

– Ты – хороший.

– Это ты ошибаешься, точно. Это не про меня.

Она уставилась на меня исподлобья, вот-вот полезет драться, защищать меня от самого себя.

– Ты добрый. Ты не врешь. Ты не такой, как другие.

– Я вру, и еще как! И часто. А доброта моя... Ну, может, зла прямо такого во мне и нет, но и доброты особой...

– Ты мне не врешь, понимаешь? Мне. И все, мне достаточно. И со мной ты добрый. И открытый. Я же для тебя тело – картина – девочка. Не больше. Но и не меньше. И ты этого никогда не скрывал, не требовал от меня больше, чем получаешь. Не пытался взять больше, чем я отдаю. Ко мне ты добрый, а что еще надо...

Она пожимает плечами, и я утыкаюсь ей в шею. И думаю

о том, как я буду жить без нее дальше, если она...

Когда она снова пропала, я затосковал.

Сначала я пытался завалить себя работой, потом поехал к ней домой – в ее квартире жили незнакомые люди. А потом работа закончилась, и я начал пить. Сначала понемногу, но в одиночку, а дальше...

Весна пришла серая и слякотная, жить не хотелось.

Ню появилась в конце апреля – исхудавшая и какая-то встрепанная, как воробей. Влетела и повисла у меня на шее.

– Гоша!

И увидела пустые бутылки...

Она набрала полную ванну и засунула меня туда. Следом и себя. Так я и отмокал – постепенно. А когда более-менее отмок и попытался ей улыбнуться – заплакала...

– Почему ты пьешь?

– Мне пусто.

– Что такое пусто? Чего тебе не хватает?

– Тебя.

– Ты врешь!

– Тебе – нет. Тебе я не умею...

– Больше не пей!

– Больше не уходи...

– Раз ты просишь, не уйду.

– Я хотел тебя найти. Я пытался...

– Напрасно. Раз не прихожу, значит, так надо.

– А что с квартирой? И этот, как его, Алик? Что с ним?

– Все в порядке, Гоша. Квартиру я продала. А Алик... Его я убила.

– Что ты сказала?!

– Что я его убила.

– Ньюша...

– Что?

– У тебя с головой – как?

– Как всегда. И вообще, теперь все хорошо...

– Теперь?

– Да. Теперь я смогу к тебе приходить, когда захочешь.

Хочешь – рисуй, а хочешь...

– А раньше нет?

– А раньше мне надо было долг вернуть. И много разного другого сделать...

– Вернула?

– Да, весь, до конца. И еще кое-что осталось, могу не работать. Так мне приходить?

– Нет, не надо. Не приходи...

– ?..

– Ты просто не уходи. Не уходи – и все. Совсем...

Она осталась...

– Ньюша, я сегодня поздно...

– Хорошо, я дождусь.

– Не надо, ложись спать, я тут сам...

– Хорошо.

Вернувшись, я находил ее спящей, свернувшись калачиком на узкой кушетке, прямо у входной двери. Рядом, на этюднике – клубника и плитка шоколада.

Я брал ее на руки и нес в постель.

– А шоколад-то зачем?

– Чтобы грустно не было.

– А клубника?

Улыбается...

– Клубника для запаха.

– А почему у двери, тоже, чтобы грустно не было?

– Нет... – смотрит.

– А почему?

– Чтобы, как собака хозяина...

– Ох, Ньюша... Ньюша... ты...

И никогда ни одного вопроса. Ничего.

Так не бывает.

А летом мы снова уехали в Крым.

Я не хотел брать с собой этюдник и краски. Потому что не хотел писать. В том числе и ее, Аню. А может быть, ее прежде всего... Наверное, просто боялся, что если еще раз...

Она меня, конечно, уговорила. И даже тащила на себе здоровый, тяжелый, полный кистей и тюбиков с красками, этюдник до самого вокзала.

Я не мог ее рисовать, я не мог ее подчинить. Она никогда не спорила, покорялась во всем, глядя на меня снизу вверх или, наоборот, сверху вниз преданными, только что не собачьими глазами, и всегда все выходило по ее. Я это видел, понимал и ничего не мог поделать. Она была сильнее. Я был ей не нужен. Она светила – сама...

А сад нас помнил. Мы навещали его раз в два-три дня, уносили с собой яблоки и этот дурманивший плодовый запах...

Дней через пять после приезда, ночью, пришла гроза. По крыше и стенам дома застучали капли, потом начался настоящий ливень. Мы проснулись. Аня встала, чтобы прикрыть окно, и в этот момент совсем близко сверкнула молния, на долю секунды осветившая все. Впервые за долгое время я увидел ее снова. Снова и заново, другую Ню, Ню-незнакомку. Она вернулась ко мне в постель, прижалась и спросила:

– А теперь ты будешь меня рисовать, скажи?

– Может быть. Завтра...

– У тебя получится, все получится, вот увидишь.

– Откуда ты знаешь?

– Ты смотришь на меня по-другому. И видишь по-другому. Я и есть другая. Попробуй, ну...

И я пробовал ее всю оставшуюся ночь – до утра...

Я снова начал рисовать ее, практически постоянно. Везде.

Дома, в саду, где-то еще... Словно не мог напиться – ею, собой, светом, который вернулся. И в каждом наброске, в каждом эскизе, в каждом этюде Ню была действительно другая – моя...

...Потом еще три недели я писал ее портрет. Привез из города станок, холст, и она позировала мне до изнеможения – ее и моего. Практически я построил ту же композицию, которую увидел тогда, в саду, в самый первый раз.

Только смотрела она теперь с портрета прямо в глаза. И – румяное, спелое яблоко в протянутой руке... «Яблоко Ню»...

... – Как ты не понимаешь, мы же не можем провести всю жизнь в этой развалюхе! И на что? Денег хватит максимум еще на неделю-полторы. А что потом? На базаре яблоками торговать?

– А почему ты не можешь работать здесь?

– А что я буду здесь делать? В городе у меня мастерская, какие-никакие связи, возможности, долги наконец...

– Ты забыл, я же квартиру продала, у меня есть деньги. Я могу отдать твои долги, и еще останется. Мы сможем еще довольно долго...

– Я никогда не возьму твои деньги, поняла? Никогда. И больше никогда не хочу об этом слышать.

– Почему?

– Потому. Ты женщина, я мужчина. С этим ничего не по-

делаешь. И забудь.

– Но...

– Забудь! И потом, я помню Алика. Не знаю, что там у вас было и как, но – помню. И с этим тоже ничего не поделаешь...

– Это же никак не связано, я тебе расскажу, и ты поймешь. Ты ведь и не спрашивал никогда. Это совсем-совсем другое. Там – наркотики...

Я опешил. Некоторое время я смотрел на нее молча, а в голове прокручивались разные картины на эту вот тему: наркотики... и Нюша.

– Господи! Ты и туда влезла...

– Да нет, Марик, никуда я не влезла. Я к ним никогда даже не прикасалась, ни сама, и никак иначе – правда! А он... Понимаешь, он меня любил, мы долго были вместе, больше года. И помогал мне, когда... Ладно, не важно. Я просто очень долго не знала, что бы ты обо мне ни думал. А потом мне рассказали. И я стала следить, потому что не могла просто так взять и поверить. И убедилась. Сама убедилась. Увидела, что он на самом деле продает дозы. И кому? Детям. Тринадцати-четырнадцатилетним детям. Я видела их лица... Однажды мы с ним были в гостях, он выпил и позвал меня на лоджию – проветриться. И я ему сказала, что все знаю, а он стал хвастать, что скоро купит виллу на Багамах и мы будем там жить. Он был пьяный, уселся на перила, а я... просто толкнула его в грудь. Несильно, слегка. И он упал с десятого

этажа. Вот и все. Меня вызывали на допрос, потом отпустили, сказали, что хоть и случайно, но в общем-то вышло по справедливости. Так ему и надо. Вот и все, – она замолчала и повторила – Я видела их лица, понимаешь. Этих ребят. Он не должен был жить...

Через пять минут она уже спала и улыбалась во сне...

Счастью всегда что-нибудь мешает. Всегда...

Через месяц моя «Ню» прошла конкурс, и я выставил ее в престижной галерее. Вскоре пришло предложение выставить ее на... У меня появились заказы, клиенты, деньги, не было только Ню. С тех пор как я оставил ее в моем-теткином доме, я не знал о ней ничего. А может, не хотел знать. Потому что – проще. Потому что за счастье надо платить. Потому что – всегда...

«Ню», попутешествовав по разным галереям и залам, вернулась ко мне в мастерскую. Продавать ее я отказался. Но и смотреть на нее, видеть изо дня в день тоже не мог. Лишь изредка снимал чехол, ставил ее к стене и раздвигал шторы...

...Письмо я получил в начале августа. Текста не было, только фотография – Ню и два маленьких свертка у нее на руках. Слева и справа. Голубые ленты – мальчики... На обороте надпись: «Яблочки Ню. 17 июня».

Счастливые глаза.

И я бросился в аэропорт...

Котенок под проливным дождем

Часть первая. ВРЕМЯ «Ч»

– Сердце – это ведь всего-навсего мышца, – произнес профессор кафедры судебной медицины Ч. и прикрыл глаза. Круглый такой, крепкий, с густым, седым ежиком волос, запрятым под белую накрахмаленную шапочку, и ангельским выражением лица, не оставлявшим сомнений в гнусности его натуры. Но Ч. в моем рассказе занимает настолько незначительное место, что не стоило бы о нем упоминать вовсе, если бы в этот сентябрьский день я впервые не заметил Сашеньку.

То есть я, разумеется, видел ее и раньше, но обычно внешним зрением, снаружи, а так, чтобы внутренним, когда раз – и вздрогнешь... И сердце, которое, оказывается, есть, хоть и не более чем мышца, вдруг замирает на одну крохотную, бесконечную секунду, и я даже не успеваю понять эту огромную наставшую пустоту внутри, как оно снова бросается в погоню – бу-бум, бу-бум, бу-бум...

Такого не было никогда, клянусь.

Она, Сашенька, была самая младшая на курсе, потому что закончила школу экстерном, на два года раньше сверстников

и, стало быть, ей к началу третьего курса не исполнилось даже полных восемнадцати лет. К тому же она была такая миниатюрная, розовощекая, и когда улыбалась – а улыбалась она всем и всегда – невольно хотелось улыбнуться в ответ. Маленькая ведь совсем, можно сказать – ребенок. А вот почему именно в тот день я на нее внимание обратил и увидел вдруг совершенно по-новому, не так увидел... Только сейчас, оглядываясь назад, понимаю. Улыбки на ее лице не было. И щеки ее были не розовые, как обычно, а мраморные, а взгляд был обращен не на мир вокруг, а в себя, вовнутрь, на видимое только ей одной, да с таким затаенным отчаянием, что смотреть на это... Невозможно было на это смотреть.

В общем, после лекции подошел я к ней, задал какой-то вопрос, она ответила невпопад, не глядя на меня, даже не посмотрев. Как можно, в другой раз обиделся бы на нее, а тогда, понимаете, просто жутко стало. Видно же – горе у человека. Смотрю, глазам не верю – она на этого Ч. уставилась, взгляд отвести не может. А ведь более незначительной фигуры для моего рассказа и выдумать невозможно. Это я, Лад, вам говорю.

Но только это жизнь была, а не рассказ. Ч. быстро прошмыгнул от кафедры к выходу, на ходу запихивая бумаги в портфель, а она, Сашенька, вдруг кинулась ему наперерез и ломким таким голосом:

– Сергей... Петрович...

А его уже и след простыл. Может, не услышал, а может,

вид сделал...

Домой ее в тот день я отвел. Просто взял за руку и повел, и она пошла. По лицу ее текли огромные, как лесной орех, круглые слезы, на которые я, мужчина, старался не смотреть. Потому что – не мог... Отвел я ее домой, она с бабушкой жила, у которой комнату снимала, передал с рук на руки, а назавтра, сам не знаю почему, ждал ее утром около дома. Так мы и стали ходить вдвоем, можно сказать – дружить. Потому что маленькая она совсем была, а как же иначе...

Сначала она молчала больше, улыбалась редко, как раньше – вообще никогда. Ну а потом, куда деваться, стала привыкать ко мне, уже не стеснялась, не вздрагивала, когда я до нее дотрагивался или в щечку ее бархатную чмокал на прощание. Она для меня почти как младшая сестра была, понимаете. Почти. Да. А потом рассказала. Все как было...

А было все как раз обычно совсем, как всегда бывает с провинциальными девочками, приехавшими в столицу учиться. Да и сама она была обыкновенная, хотя об этом мне трудно судить. Уже – трудно. И сейчас, когда думаю о ней, сердце колотится, а уж тогда... И еще почему-то казалось, что дом этот, в котором она жила, – наш с ней дом. Будто к двери подхожу, вставляю ключ с бороздкой по краю в скважину и бесшумно так дверь открываю, а за дверью она, Сашенька, меня уже встречает и в глаза заглядывает – что, мол, соскучился? И ластится, и прижимается ко мне вся целиком,

и подходим мы с ней друг к другу, как этот самый ключ с бороздкой к фигурной замочной скважине.

Сумасшествие, понимаете? Форменное сумасшествие...

– А почему ты вчера со второй пары ушла? Сказать можешь?

И сразу – взгляд исподлобья, ощетинивается, как ежик, а ведь только минуту назад шла рядом, разве что не вприпрыжку, и щебетала.

– Надо было.

– Между прочим, через неделю зачет.

– Знаю, не маленькая. Нечего меня опекать.

– Как не маленькая? Как раз маленькая ты, – я поворачиваю ее лицом к зеркальной витрине магазина. – Девочка еще совсем. Разве сама не видишь?

На нас смотрят из витрины худой долговязый парень с густыми черными волосами и она, Сашенька – мягкий рот, нежный овал лица и это покорное выражение ее глаз...

Она высвобождается движением плеч и смотрит на меня.

– Ты и вправду считаешь меня такой... несмышленной? – ее нижняя губа дрожит от обиды – Сашенька вот-вот заплачет. – На самом деле?

– Э-э-э... Что, пошутить даже нельзя? Сразу обижаешься, да? Знаю я, что ты на курсе самая умная, одну тебя в пятнадцать лет в институт приняли, больше никого, да? Знаю. Но волнуюсь я за тебя, я как бы за тебя... отвечаю, понимаешь?

Перед собой, перед тобой, перед всеми. Кто я тебе, скажи? Друг.

Сашенька послушно кивает и снова улыбается, а потом, через минуту уже, опять хмурится и задумывается.

– Сашенька, когда ты так смотришь, у меня появляется желание сделать харакири.

– Харакири – это у японцев, а ты грузин. И ты все время надо мной смеешься...

– Честное слово, нет! Когда я над тобой смеялся? Если кто-нибудь только посмеет над тобой смеяться, только скажи, я и ему харакири сделаю. Ты не думай, у меня кинжал есть, настоящий, мне его дедушка подарил, отец моего отца, когда мне двенадцать лет исполнилось. Очень красивый и очень острый.

– Ты такой хороший, Ладос. И что бы я без тебя делала, просто не знаю. Ты лучше всяких подружек. Как ты думаешь, я ему на самом деле нравлюсь, а? – она снова хмурится и указательным пальцем крутит локон.

– Са-а-а-ша-а! Опять?

– Опять, да, опять... Я вообще-то совсем не это спросить хотела. Чего сразу кричать-то?

– Не кричу я. Мужчины вообще не кричат, потому что мужчины. Спрашивай, ну?

– Ладос... – она морщит нос и задумывается. – Я не знаю, как сказать... Ну вот правда, что есть такие люди, которых обижать все время хочется?

– Как это – все время обижать? Не понимаю...

– Попробуй вспомнить, может, встречался тебе такой человек... не то чтобы враг тебе или раздражал сильно – нет. Просто человек, обычный, слабее тебя, но неплохой, да, неплохой... А тебя вот так и тянет ему... Ну не знаю... что-то плохое сделать, обидеть, насолить, понимаешь? Встречался, нет?

Я фыркаю и уже хочу ответить ей что-то резкое, но тут вспоминаю... Вспоминаю одноногого Гочу. Маленького одноногого Гочу из параллельного класса.

Он вместе с родителями приехал в наш город из какой-то горячей точки, у него не было половины левой ноги. Вместо нее протез. Но не в этом дело. Станный был парень, то в друзья набивался, то враждовал со всеми сразу, никого не признавал. Очень был странный парень. Почему-то его всегда жалко было. Не потому что одноногий, а – просто. Жалко, и все тут. Может, потому, что сам он жалкий был, хоть и дрался с нами, и все такое. А вот было в нем что-то... Как будто виноваты все перед ним, что ли. И когда за драку, в которой ему же больше всех и досталось, его исключили из школы, все вздохнули с облегчением. И я тоже. Потому что – чужой. Хотя и жаль его было, конечно, но... не до конца, что ли.

И я рассказываю Сашеньке про Гочу, но она перебивает, мотает головой и слушать не хочет.

– Я совершенно не об этом! Не про «жаль не до конца».

Про это всем известно, чужой – он чужой и есть. Я совсем про другое.

Она останавливается и несколько секунд молчит, подыскивая слова.

– Вот представь, идешь ты по улице, холодно, дождливо, осень. И знаешь, что всего через несколько минут окажешься дома, в тепле и сытости, и про погоду эту мерзкую даже не вспомнишь. И вдруг видишь, как у стены дома, прижавшись к водосточной трубе, под проливным дождем, сидит бездомный котенок. Голодный, замерзший и несчастный. И тебе его сразу же жалко. Инстинктивно, правда? Тебе его отогреть хочется, накормить, за пазуху посадить, так ведь?

– Ну?

– Я и говорю... Но даже если тебе все равно – и так бывает – прошел мимо и забыл, мало ли бездомных котят, всех ведь не отогреешь.

– Всех точно не отогреешь, правда.

– И тут, то ли оттого, что котенок этот, это создание божие, уж слишком жалобно на тебя глядит, то ли оттого, что ты знаешь – помочь ему все равно не сможешь, вот тут ты этого самого котенка со злости-то и пнешь ногой – п-ш-ш-шел вон, тварь бездомная... И вовсе не потому, что ты маньяк какой-то или по природе своей жестокий – нет. И не только потому, что чувствуешь свое бессилие, знаешь, что жизнь все равно сильнее тебя. Нет, есть еще что-то, понимаешь? Этот котенок слишком уж жалок, слишком – про-

сая. Не трагедия, а словно карикатура на трагедию. Но и это еще не все. Есть, есть в глазах у него, на самом дне, некая неприятная тебе мысль, чувство превосходства, вывернутое наизнанку, – ага, вот ты идешь весь из себя такой теплый и всеми любимый, а я тут подохну у этой трубы, прямо здесь, и дворник утром меня дохлого подберет и на помойку выбросит. И пусть, пусть, зато тебе – мучиться этим воспоминанием всю жизнь. Не то чтобы ночей не спать, но, как привкус такой неприятный во рту или озноб – вдруг, в жаркий день, если вспомнишь. И так тебе и надо... – она вздыхает. – И как тут ногой-то не пнуть, а? Скажи на милость?

– Ты... Ты что говоришь вообще, а? Ты думаешь, я не понимаю, о чем ты? То есть я не знаю о чем, но не о кошках, не о котятках. Немедленно рассказывай все! Все! Говори, слышишь!

Но тут Сашенька замолкает и улыбается, будто сама себе, будто что-то вспомнила, что только ей известно и больше никому.

Совсем никому.

Совсем...

Я ведь уже сказал, да, что было с ней все совсем как у всех, она влюбилась. Просто по-детски влюбилась, безумно, то есть – без ума. Правильно, в того самого Ч., круглого, седого, хитроглазого. С точки зрения двадцатидвухлетнего грузинского парня, с моей точки зрения, в полное ничтоже-

ство. Сначала я даже верить не хотел, понять этого не мог. А потом... Потом я, Ладос, стал ее охранять и оберегать, утешать тоже стал – кто скажет, почему? Я и сам не знаю, сам себе не могу ответить, как такое могло случиться. Это позже, много позже мне пришло в голову, что любил я ее уже тогда...

Впрочем, я и сам был мальчишкой, иначе все могло закончиться совсем-совсем по-другому. Так по-другому, что вы бы ничего этого сейчас не читали, а Сашенька... Хотя нет, не буду я догадки строить. Что было бы, если бы... Не буду. Случилось то, что случилось, и так, как случилось.

Он был у нее первым. Первым мужчиной в ее неполных восемнадцать лет. Я сейчас не об уголовном кодексе, разнице в возрасте – это ладно. Но она оказалась в полной его власти, абсолютной. Как он это сделал и почему она ему позволила... Не знаю, до сих пор не знаю, а только Сашенька буквально таяла от одного его мимолетного недовольного взгляда. Только что руку не целовала. А может, и целовала, не знаю. Какие секреты ему были известны и что он сумел в ней увидеть и раскрыть... Я его ненавидел.

Он боялся всего – жены, начальства, Сашенькиного возраста – девочка же совсем, почти ребенок, и делал все тихо и незаметно. Только я иногда знал, где и когда они... Это если она, Сашенька, просила ее встретить и домой проводить. Да-да, такое тоже было, да. Говорю же, сам мальчишкой был...

Страшная штука – любовь. Тогда я об этом не думал, ни о чем вообще не думал, только жалел, наверное, ну и ревновал, может сам того не понимая. И мысли мне разные в голову приходили, ведь кинжал-то у меня в самом деле был, понимаете? И я мог его... Но и я молодой был, и Сашенька, которая уже хорошо научилась мысли мои читать, как-то раз сказала:

– Ладно, ты учти, пожалуйста... Ты единственный, кому я все, почти все рассказываю. Потому что ты мне – как брат, и я тебя очень люблю. Но если ты ему что-нибудь сделаешь – не прощу. Не прощу...

И посмотрела так, как никогда раньше не смотрела. Ну вот... у нее глаза почернели, честное слово. Я даже за нее испугался.

– Слушай, но ведь он изверг, зверь! Сама не видишь?

– Пусть. Значит, так тому и быть. Значит, заслужила. И мне без него жизни нет.

В жизни всякое может быть. И хоть бы он умер, сам умер, Ч. этот самый. Да, хоть бы он...

Утром прошел слух, что привезли труп.

Для занятий по судебной медицине старые, проформализованные трупы не годятся, а свежие, да еще если невыясненные обстоятельства смерти, в самый раз.

За ширмой, на прозекторском столе, лежит тело. Старуш-

ка повесилась, видимо от тоски – одинокая, никому не нужная. Жизнь протекла мимо, и надоело ей жить, чтобы просто пищу пережевывать. Повесилась.

Мы сидим вокруг, слушаем, как преподаватель объясняет про странгуляционную борозду, а я... А мне видится эта старушка. Сидит одна. Глядит в окошко и думает: «Вот сейчас повешусь, а солнце? Да что там солнце, бог с ним. Пусть его светит дальше...» Грустно мне стало от таких мыслей, смотрю на Сашеньку, а она... взгляд у нее такой... невидящий, вовнутрь обращенный, в себя. Я к ней такой привык, уже даже и не спрашивал, о чем она думает. И так ясно было. Но вот она чувствует мой взгляд, поднимает голову и слабо так улыбается, но – не мне, не мне. Как же мне хочется, чтобы он...

А назавтра она не пришла в институт. Только вечером я узнал, что Сашенька... она пыталась покончить с собой. Наглоталась аспирина, еле откачали, хорошо еще бабушка эта, хозяйка ее, вовремя вернулась и увидела, а так бы... Прибежал я к ней в больницу, она лежит в палате, лицо землистое такое, но улыбается и говорить уже может.

– Ладно, миленький, не бойся, все уже хорошо. Правда хорошо. Правда-правда.

– Какое хорошо? Откуда хорошо? Ты себя убить хотела – это хорошо?

– Я знаю, я все знаю, что ты мне скажешь, и со всем согласна, честное слово! И что жизнь у меня еще длинная впе-

реди, и что детей рожать, и все остальное. Это был просто аффект, все уже прошло, ну поверь. Я не вру, у меня же здесь ближе тебя никого...

С трудом, но я все-таки выпытал у нее, что произошло в тот вечер. Выпытал.

Рядом с ней и на самом деле никого ближе, чем я, не было, и, пусть не сразу, она мне рассказала. А когда рассказала... В общем, случись с вами такое, и вы бы наглотались. Аспирина или чего другого, не знаю, но не в этом дело. А ее, Сашеньку, я не сужу, да...

В тот вечер Ч. пришел не один, он еще кого-то с собой привел, какого-то знакомого, приятеля. Тот случайно однажды Сашеньку увидел, и очень она ему приглянулась. Все случилось по общему согласию, прилично. Она просто не способна была сказать ему нет. Так и лежала, глядя ему в глаза, пока не потеряла сознание от... Не знаю, как назвать, в моем языке таких слов нет, понимаете? Но слава богу, что все-таки – потеряла.

Убивал я его медленно. Очень. Я с кинжалом с детства обращаться умею и крови не боюсь, я же с Кавказа.

Когда лезвие вошло ему под печень, он стал мне рассказывать, как все было на самом деле. Кинжал я так и оставил в теле, чтобы кровь вытекала медленно. Его рассказ длился почти восемь минут, пока он не умер. Он рассказал что успел. И я что успею – расскажу. Потому что мне все тяжелее

дышать – уж больно сердце дергается. Не бьется, а дергается. Так еще и не было никогда. И – душно.

– Я ее... люблю. По глазам вижу – не веришь. А я – люблю... Так, что даже умирать из-за любви этой – не жаль. Она... Понимаешь, околдовала она меня... С первого взгляда, как увидел ее перед прошлым семестром, случайно, она в деканат пришла стипендию оформлять. И, ты снова не поверишь, знаю, но и она – тоже... Она тоже... сразу... Я ничего не мог с собой поделать, да и не хотел... Только вот ошибся, думал, просто еще одно приключение, тем более молоденькая совсем... Ты не представляешь, какое у нее тело, и как же я его хотел... И получал – да... А самое-то главное – безропотность ее... Я ведь, чего уж теперь, и ударить мог... По-всякому... и с любовью, и без... Потому что в глаза ей заглядываю, а там, на самом-самом дне, в черной глубине, будто лепечет кто: убей меня... ну убей меня, только люби – всегда... И я бил и обижал ее, и словно легче становилось, понимаешь? Да нет, конечно, куда тебе... Я потом ноги ей целовал – прощения просил... А она смеялась и повторяла только: «До свадьбы заживет, ничего. Ведь свадьба – скоро...»

...И еще. Я боялся, что надоем ей... Чего только не выдумывал, чтобы удивить, привязать к себе... Такое с ней творил... Лишь бы только насладиться ее, понимаешь? Насладиться... Сделать – сладко...

А как-то она мне и говорит, что так меня сильно любит, что само удовольствие... понимаешь от чего, да? Что оно ей вроде уже и не важно... Лишь бы мне хорошо было... А ей ничего уже и не надо... Будто и не любовь это, а другое чувство, неведомое еще, какого и не бывает вовсе...

Я, конечно, не поверил... И подумал – значит, я уже не могу ее удовлетворить... Старый я для нее... Потому и выдумки все эти... Ну и спросил: а если бы еще одного мужика позвать, согласилась бы? Она поглядела так... Прозрачно... И говорит: «Все, что ты хочешь. А ты хочешь все, я знаю».

И я позвал Митьку... Хотел ей – сюрприз. А вышло... вон как вышло... Потом, после всего, я ее домой отвозил. Она все время молчала, только, когда уже почти приехали, спросила:

– Ну как, любимый, тебе понравилось?

– А тебе?

– А я будто умерла на время, не было меня там. Но если ты так сильно этого хочешь, зови его снова, я потерплю.

Он вздыхает глубоко – не по-человечески уже – и добавляет:

– Об одном... жалею... Так и не понял я... Неужели и правда... есть такое чувство, чтобы даже умереть... хоть и на время... Или я что-то пропустил в жизни?

Я сижу на привинченной к полу табуретке и сжимаю руками свое сердце. И качаюсь ему в такт – вперед-назад, впе-

ред-назад. Иначе оно выпрыгнет. А уж если мое сердце выпрыгнет – значит, все. Вот как у меня с Сашенькой. Обратно дороги нет. Да и бог с ней, с дорогой. И бог с ним, с сердцем.

А вот кто теперь о Сашеньке позаботится?

Может, я зря его убил?

Или нет?

Часть вторая. ЗА ПАЗУХОЙ

Я его не убил. Все-таки – не убил. Правда, соблазн был, очень большой был соблазн. Ведь я с Кавказа. Именно поэтому мечты мои так... подробны, что ли. Потому что знаю точно: все бы так именно и было. Но не убил... Встретил вечером, после занятий, и сломал ему нос. И еще кое-что. Я это хорошо сделал, так, чтобы совесть свою успокоить. А он меня даже не узнал, не успел, да.

После этого он в институте недели три не появлялся, потом пришел – как новенький. Но с Сашенькой больше – ни-ни. Ничего. Да и она с ним – тоже. Так она мне обещала. А иначе, сказал я ей, на самом деле зарежу. Без шуток.

И еще дело в том, что и наши отношения с ней, с Сашенькой, изменились. С той самой минуты, как я понял, что девочка моя, что Сашенька моя – прикосновенна. Понимаете, что я хочу сказать? Я вдруг осознал, что и мне тоже – можно. Можно – ее. Можно ее – по-всякому. Была она девочка, бабочка была с цветными крылышками, и я ею любовался,

вот как. А теперь... Нет, я не перестал ею любоваться, нет. Просто она из бабочки превратилась в куколку. И я понял, что могу взять эту самую куколку и сжать в кулаке. А если вдруг она дышать перестанет – пусть. Главное, чтобы никому другому не досталась...

Женщина без хитрости погибнет. Никуда ей без хитрости, это ее природная сила.

А Сашенька... Она другая совсем. Не как все. Я смотрю на нее, такая она слабая и покорная, как такой выжить? Ее же всякий обидит, всякий с ней что захочет, то и сделает. У мужчин жесткие руки, иногда даже жестокие. И поэтому без меня ей – не выжить. Не выжить, и все. Я знаю...

– Ладно, ты что такой грустный?

– Я не грустный, я задумчивый.

– И о чем же ты думаешь?

– О тебе.

– А что обо мне думать-то? Вот еще, нашел занятие. Я самая обыкновенная, к тому же всегда рядом.

– Э-э-э... Обыкновенная – это да. А вот рядом, нет, не всегда.

– Да что ты? За то время, что мы вместе проводим, так уже могли надоесть друг другу.

– Но ведь не надоели?

– И что из этого? Хорошо же, правда?

– Хорошо, да не совсем.

– Это как? Я не понимаю.

– А так, Сашенька, что мало мне тебя. Хочу, чтобы ты у меня всегда под рукой была.

– Так ведь вот она я, под рукой. Можно даже потрогать, – она улыбается и еще ничего не подозревает. Она не знает, что во мне проснулся зверь. А зверя надо кормить...

– Я потрогаю, да...

Я кладу руку ей на голову, ерошу солнечные пряди, пропускаю их между пальцев... Потом хватаюсь за них чуть крепче и тяну. И ее лицо запрокидывается, в глазах удивление и – бог ты мой – никакого страха, испуга, даже тени сомнения – ничего. А потом она откидывает голову еще дальше назад и, смеясь, радостно мне сообщает, что с такими добрыми глазами я никого не смогу испугать.

Даже если захочу...

Ночью я не смог заснуть. Даже глаз не сомкнул. А наутро пошел в спортзал и качался там, пока совсем не сдох – ни дыхания, ни сил, ничего во мне не осталось. Только стук сердца отдавался в висках, а сердце у меня слабое. Вернее, не слабое, а чувствительное. Ведь именно из-за него я тогда – ох, как же давно – к Сашеньке, к девочке моей прикипел. Так что уж теперь-то? Ничего не знаю, только одно знаю точно: будет она моей. Будет, и все. И хорошо бы, лучше бы – добром, потому что если нет – залюблю я ее до смерти, девочку мою маленькую. Как пить дать, не шучу...

Произошло это очень скоро. Конечно, не до смерти, но...

К летней сессии мы готовились вместе. То есть других вариантов не было. Просто не могло быть, понимаете?

Три недели, обложившись учебниками, конспектами и шпаргалками, мы зубрили, спали, ели – вместе. Везде – в ее комнате, за кухонным столом, на балконе, на диване.

Как раз на нем-то все и случилось – на диване. Потом – на кухонном столе, а ближе к ночи, когда уже почти стемнело, на балконе. И, если бы мне такое рассказали, я бы тоже не поверил, но одно только у меня в голове, в памяти, от нашей с ней близости и осталось: невероятная, просто чудовищная нежность. И еще – пальчики у нее на ногах, крохотные совсем, как у ребенка...

...Она свернулась калачиком у меня на груди, и, прежде чем уснула, я все-таки успел шепнуть ей в самое ушко:

– Тебя попробовать, а потом и умереть не жалко...

И еще я подумал: если что, теперь-то уж точно – убью...

Не трогать ее, Сашеньку мою, было невозможно. Она вся, просто вся, была для этого создана. И еще – для меня. После сессии я просто увез ее в свой город, как украл.

Привести ее домой к родителям я, сами понимаете, не мог. Пришлось поселить ее в доме троюродной сестры и взять с нее клятву, что молчать будет. Я понимал, что рано

или поздно все обо всем узнают. Но это потом, а пока я мог приходить к ней, к Сашеньке, каждую ночь и любить ее, любить – везде, хоть под открытым небом, на берегу моря. Вот он – берег, близко, очень близко. Ближе только ее грудь в лунном свете. Знаете, каково это, всегда, все время, жить – с ее вкусом на губах...

Кто ей рассказал про Тину, ума не приложу. Это невеста моя, уже давно. Мы с ней еще совсем детьми были, когда наши родители решили породниться. Она очень хорошая девушка, Тина, – чернобровая, стройная, тихая. Наша свадьба должна была состояться через два года, когда я закончу институт. Говорили мы с ней мало, да и наедине почти никогда не оставались, всегда кто-нибудь из ее или моих родных был рядом. Так у нас принято, понимаете. Да и о чем нам с ней говорить? Еще целая жизнь впереди, успеем наговориться. А из-за Сашеньки я про нее просто забыл. Забыл, что невеста, что через два года она и я... Все забыл. Совсем. Мне даже в голову не приходило, что, женившись на Тине, я могу Сашеньку потерять. Что я вообще могу ее потерять. Не важно почему. А когда приехал, увидел ее и вспомнил...

Первая мысль: отложить свадьбу, послушаться родителей. Вторая: за что мне это все, господи?

И я приходил к Сашеньке, утыкался в нее лицом, и все вокруг просто исчезало, даже время. Пока она не уехала – вдруг. Я пришел и нашел записку, прижатую к столу старой глиняной плошкой.

«Ладо, милый, прости. Вчера я узнала про Тину – так ее зовут, да? Здесь мне нет места, это ваш мир – твой и ее, поэтому я уезжаю. То, что между нами, не может продолжаться так, как будто ее нет. Это неправильно, и я не хочу. За меня не беспокойся, я прекрасно доберусь сама. И мы же все равно увидимся. До встречи. Не скучай. С.»

Назавтра я уехал вслед за ней. Ни родители, ни родственники совсем ничего поняли, а Тина сказала на прощанье:

– Это совсем не важно для меня – кого ты хочешь. Но не меня. Я знаю кого, Ладо... – и отошла, опустив глаза.

Два августовских дня прошли через меня сутолокой на перронах, запахом абрикосов в бумажных пакетах и тепло-возными гудками. Я был занят одним-единственным делом – думал о ней, о Сашеньке. Я перебирал ее запахи, ее оттенки, ее всю. Я хотел ее – на всю жизнь.

Навсегда...

Мы встретились, как будто не расставались. Она даже не удивилась, что я, Ладо, бросился за ней следом, как мальчишка. А может, ей было все равно.

Она ничего не спрашивала, ничего не просила, ни на чем не настаивала – просто обняла меня за шею, и я повел ее за собой, куда хотел. Потом... потом я лежал и гладил ее по голове, по щекам и в отчаянии думал, что того, что у меня внутри, хватает на нас двоих. С этого момента она стала во мне звучать. Не помню уже, от кого я впервые услышал это

выражение: «голубая нота». Когда ты слышишь звук и понимаешь: вот оно – да! То, что всегда в унисон с тобой, с тобой – всяким, в любую секунду. Ты сам можешь меняться, и она меняется тоже, с тобой вместе. Всегда созвучна. Сашенька стала моей голубой нотой, она была созвучна мне – не потому, что хотела, нет. У нее просто не получалось по-другому, вот в чем дело...

– Скажи, что ты делала без меня?

– Да разве я была без тебя? Всего-то один день...

– Пусть один. Так что?

– Ничего особенного, так, пустяки...

– А все-таки?

– Я... Я была у Ч.

– Ты – что?!!!

– Я... понимаешь, я не была уверена, что ты вернешься.

И он вдруг позвонил. Неожиданно...

– Саша, повтори. Повтори, что ты сказала. Что ты сейчас сказала, ну...

– Как что? Правду. Я всегда говорю только правду, тогда не запутаешься.

– Дальше.

– Ты хочешь спросить, спала ли я с ним? А зачем? Зачем тебе это знать? Разве это что-то изменит? Гораздо важнее другое...

– Что же, по-твоему, важнее? Ну!

– Важнее – хочу ли я встретиться с ним снова...

– А ты – хочешь?

– Нет, – она замотала головой. – Нет, не хочу. Уже не хочу.

Теперь – не хочу.

– Ага. Теперь-ты-не-хочешь... – цежу я сквозь зубы.

– Да. Мы с ним не виделись почти полгода. И мне... Мне плохо было без него. Как без руки...

– Без руки...

– Да, без руки. А ты не понимаешь. Ты совсем ничего не понимаешь! – и она бросается лицом в подушку и – плачет, плачет...

...Кинжал теплый. Он согревает мне ладонь и успокаивает сердце. Я в чем мать родила стою у окна, а за моей спиной, уткнувшись в подушку, лежит Сашенька и всхлипывает. Потом вдруг она оказывается рядом, я протягиваю к ней руку и пропускаю сквозь пальцы ее золотистые, шелковые пряди... Тяну, тяну еще сильнее. Я смотрю в ее запрокинутое лицо и знаю, ей больно... Но там, в глубине ее глаз, на самом дне, бьется беспомощно, как птенец: убей меня... ну убей меня, только люби – всегда...

Как я ее ударил – не помню. Зато помню, очень хорошо помню, что почувствовал после. Покой снизошел на меня. Потому что в ту самую секунду она стала моей – вся. Целиком.

Как-то я ее спросил:

– Скажи, а зачем ты мне тогда соврала?

– Когда?

– Ну, будто встречалась с Ч.?

– А как ты догадался?

– Не важно. Догадался и все. Так зачем?

– Чтобы ты наконец ударил меня.

– А по правде?

– Так я по правде. Понимаешь, я не хотела тебя – друга, любовника. Я хотела тебя – хозяина.

– Значит, я понял правильно. Но ты сумасшедшая. Мы оба – сумасшедшие.

– Пусть. Но тебе со мной хорошо. А цена... цена есть у всего на свете.

Она смотрит на меня тихо и радостно, и лишь на самом дне ее глаз – то самое превосходство наизнанку.

Иногда она исчезает. Всего на полдня, нечасто, несколько раз в год. Моя Сашенька, моя покорная и улыбчивая девочка, моя жена, моя любовь. Просто пройтись по магазинам, посидеть в кафе, поболтать с подругой. Она возвращается, и я не могу поймать ее взгляд, он обращен вовнутрь, в себя, и так... прозрачен. И совсем как тогда, миллион лет назад, в самом начале, мое сердце вдруг замирает на одну крохотную, бесконечную секунду, и я даже не успеваю понять эту огромную наставшую пустоту внутри, как оно снова бросается в погоню: бу-бум, бу-бум, бу-бум... Потом я уйду к себе в кабинет, отпираю ящик письменного стола, открываю его

и смотрю на лежащий поверх всего старый кинжал – очень красивый и очень острый. Просто смотрю. И сердце постепенно успокаивается и начинает тихо-тихо петь, и я слышу ее, ту самую голубую ноту. А что же еще может это измученное сердце, которое всего-навсего мышца, как говорил профессор судебной медицины Ч. – самая незначительная фигура моего рассказа.

«Теперь-то уж точно – убью».

Симонетта – нежность Тосканы¹

Девушка встала со своего места и приподнялась на цыпочки, чтобы достать сверху, из кармана дорожной сумки, упаковку бумажных салфеток. Коротенькие джинсовые шорты обтягивали ее так туго, только что не лопались на круглой попке. Затем снова уселась и зарыдала вновь. Совершенно бесшумно, только плечи вздрагивали, и сползшая от этого бретелька ее майки открыла ослепительно белую полосу незагоревшей кожи. А волосы у нее были с рыжеватым отливом...

Мы неслись со скоростью почти триста километров в час, вещи на полках едва заметно покачивались, небо сломя голову разбегалось в разные стороны.

«Н-да, все-таки постарел... – подумал я. – Раньше бы я на слезы даже и внимания не обратил, а только на... Вот он – пятый десяток, как ни крути...»

И, не медля ни секунды, я поднялся, сделал несколько шагов и оказался сидящим двумя рядами впереди – рядом с ней. Вернее – напротив.

¹ *Симонетта Веспуччи* (28 января 1453 – 26 апреля 1476) – возлюбленная Джулиано Медичи, младшего брата флорентийского правителя Лоренцо Медичи. Считалась первой красавицей флорентийского Ренессанса, за свою красоту получила прозвище Несравненной (Бесподобной; фр. *La Sans Pareille*) и Прекрасной Симонетты (итал. *La Bella Simonetta*). Служила моделью картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и многих других его работ.

Она подняла свое опухшее, зареванное лицо, и я пропал. Дело в том... Понимаете, я ее уже видел. Раньше. И не раз, не два, а... Ну вот знал я ее, и очень хорошо. Очень хорошо знал.

Так мы и сидели, я – онемев от удивления, она – обиженно скривив надутые губки. Подумаешь, немолодой, явно потерявший жизнью итальянский чико мешает хорошенькой и совершенно незнакомой девушке предаваться ее нехитрому горю. Ах, какая бестактность...

– Держите... – я вытаскиваю из кармана и протягиваю ей носовой платок.

– Спасибо, – она кивает на салфетки. – У меня...

– От бумажных салфеток бывают раздражения на коже. Особенно на такой, как ваша. Он шелковый, ну, держите. И не беспокойтесь, абсолютно чистый.

Сколько ей лет? Двадцать? Двадцать два, двадцать три? В двадцать три умерла Мия...

Мия, Мия...

...Я разглядываю ее откровенно, в упор.

Покатые плечи, маленькие узкие ладони, ступни совершенно непринужденно, по-балетному, носками наружу. И тоже – маленькие. А еще – золотистые брови, матовые скулы, губы чуть приоткрыты и вот-вот выдохнут – «Да...»

В общем, почти все, о чем можно мечтать.

– Вы смóтрите – наоборот...

– Наоборот? Это как?

– Как вам объяснить... Некоторые великие мастера умели так изобразить на полотне взгляд – с какой стороны ни помотришь, глаза с портрета всегда направлены прямо на тебя. Всегда. Неотрывно. А вы смотрите в глаза, а взгляд поймать невозможно. Наоборот...

– Никогда о таком не думала...

– Хм... Верю. Я вспомнил об этом потому, что однажды уже видел подобное – прекрасное юное женское лицо и взгляд, который неуловим. Всем – и никому. И лучше не пытаться его поймать.

– Почему?

– Потому что потом уже не вырваться. Не отпустит. А может, сам не захочешь...

– Вы говорите странно... Кто она? Как ее зовут?

– Ее? Ее звали... Нет, сначала... А как зовут – вас? Тебя?

– Сима... То есть Симона...

– Пожалуй... Я буду звать тебя – Симонетта.

– А почему – пожалуй?

– Потому, что это имя тебе подходит, а ты – ему. И это хорошо. Вообще все хорошо, ведь мы встретились. Откуда ты знаешь итальянский?

– Это моя специальность – европейские языки. Английский, французский, итальянский...

– И почему ты плачешь? Впрочем, это не важно. Просто не плачь, и все. Оно того не стоит, и он – тоже.

– Откуда вы знаете?

– Говори мне «ты». Мое имя Сандро. Пожалуйста, всегда говори мне «ты».

– Сандро...

– Тебе идут слезы, но все-таки вытри их, а...

– Но у меня... неприятности. Вам легко говорить...

– Тебе. Тебе легко...

Она послушно кивает.

– Тебе легко говорить.

Послушная... Послушная девочка, послушная дочь, послушная любовница... Та, что еще не проснулась. Та, чей взгляд невозможно поймать.

Симонетта...

Размазывая слезы по щекам и забавно растягивая гласные – что-то славянское в ее лице и этом милом акценте – она долго и путано рассказывает мне свою историю. После окончания университета поехала с другом в Италию, сначала, конечно же, Венеция, а там бурная ссора с Ромео, разрыв, вот уеду – ему назло, уеду – одна... жара, суета и суতোлка вокзала, и, в довершение всех бед, пропажа кошелька и документов, обнаруженная ею уже прямо здесь, в поезде, несущемся со скоростью почти триста километров в час... все это ради того, чтобы забыть, забыть изменчивую, прекрасную, истекающую солнцем Венецию и оказаться в ладонях Тосканы – в моих ладонях.

Мои ладони... Они шершавы и горячи. Такие, какими их сделала долгая работа с камнем. А я работаю с ним всю жизнь, сколько себя помню. Я возвращаю ему красоту и тепло, наполняю солнцем. Мои руки знают благородство его линий, его дыхание и его смерть... Среди моих предков – каменотесы, известные не только во Фьезоле – по всей Тоскане. Скульптор, реставратор, каменотес – Сандро. Странно, я все время забываю, что Мия – умерла... Я все время об этом забываю.

Зато вижу ее живую – смуглокожую, хрупкую, зеленоглазую, с влажными от страсти черными завитками на тонкой шее, чувствую ее горячечный озноб. А ведь больше двадцати лет прошло... Не отпускает она меня, Мия... Сын вырос, жена ушла к лучшему другу. Осталась только работа, камень, его живое чудо... И моя неистовая Мия, которой всегда будет двадцать три...

– И что ты собираешься делать?

Сима пожимает плечами, смотрит – сквозь меня – доверчиво, склоняет голову чуть набок. И я вижу Симонетту...

Я пишу ее вновь и вновь, уже почти пятьсот лет. Пишу ее живую, потому что красота не умирает. И пусть она любит не меня, все это время, все эти пятьсот лет. Я привык.

И потом, у меня все же была – Мия...

Из Флоренции мы сразу же отправились в Фьезоле. Симу

даже не пришлось уговаривать, все произошло само собой. Само собой, как и должно было быть...

Я просто подхватил ее сумку, полуобернулся:

– Ну, идем?

И она побежала за мной вприпрыжку.

– А это вот и есть Флоренция, да?

...Автобус карабкался по холмам, рядом щебетала Симонетта, а я... Я глядел на залитые солнцем, раскаленные добела улицы моего детства и удивлялся сам себе – почему меня совершенно не утомляет ее почти детская болтовня? И ждал. Увидит ли она? Поймет ли?

И она...

Именно на этом повороте, почти на самом верху, она кинула мимолетный взгляд в окно и... Тому, кто ни разу этого не видел, не расскажешь. Любые слова тусклы и незначительны по сравнению с нежной прелестью этих округлых красно-зеленых холмов. Но если хоть однажды...

Она вдруг вцепилась в мою руку, замолчала и выдохнула:

– Вот это – да-а-а-а...

И целых десять минут после не произнесла ни слова. Ее тонкие пальцы в моей ладони, ее вздохи у моего плеча...

От автобусной остановки пешком – все выше и выше, и вот они – прочные чугунные ворота, вязь решетки, ржавый, давно никому не нужный замок. Поблизости, в зарослях плюща, лаз, о котором уже так давно знаю только я один. Вот он – дом моего детства...

За забором – старый заброшенный сад, дремлющие под солнцем оливы и кипарисы.

Двадцать лет забвения. Вывороченная, тоскующая по прошлому земля...

Дом заброшен и местами разрушен, но правая половина сохранилась гораздо лучше, почти целиком. Особенно столовая с узкими высокими окнами вдоль всей стены: тронь ставни – и вот оно, небо. Небо Тосканы...

Я не хотел возвращаться – что толку от давних детских воспоминаний, от этого полуразвалившегося дома... Невозможно похоронить себя в этой глуши, прекрасной, но какой же, боже мой, глуши. Только после развода я решился.

Все-таки – наследство.

Все-таки кров и – кровь...

Сима кружит по комнатам и смеется.

– Сандро, погляди, какое чудо – настоящий Дом! Он живой, он дышит. И поскрипывает от старости.

– Верно, но он, хоть и старый, еще ничего. А сколько всего он помнит.

– Мы на самом деле можем тут остаться? Можем тут жить?

– Почему же нет... Мне только надо зайти в мэрию и еще кое-куда. Подождешь? А потом мы сходим на рынок и накупим всякой всячины, а?

Она улыбается. Ее губы, которые вот-вот выдохнут:
«Да...»

Я знаю ее так давно. Наверняка и она чувствует то же самое. Я подхожу близко и наклоняюсь к ее лицу. Я помню его до самой последней черточки, до крохотных морщинок в уголках вдруг пересохших губ, до...

– Симонетта, – шепчу я про себя. – Моя Симонетта... Скажи мне, ты ведь вся-вся – моя. Правда?

Как трудно ее – писать.

Как легко ее – любить.

Весь город, вся Флоренция любит Симонетту. Еще бы, ее полюбит каждый, кто посмотрит ей в глаза. Ни за что не поймать взгляд этих синих глаз, ведь ей интересна лишь она сама. Но если повезет и она вам улыбнется, то вы... вы упадете – в небо...

Мы лежим неподалеку от дома, на вершине холма – Сима и я. За кронами деревьев внизу видна его крыша. На траве между нами остатки обеда – почти пустая бутылка белого вина, сыр, хлеб, маслины, виноград. Сима грызет травинку и смотрит в небо. И произносит – лениво и глуховато:

– Знаешь... Я понимаю, почему все люди – разные...

– Правда? Ну расскажи – почему же? Мне интересно.

– Только не смейся, ладно? Я серьезно. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вот только сейчас – с тобой... –

она поворачивает голову, смотрит на меня и продолжает: – Может потому, что, как сейчас, у меня еще никогда не было, а может... может потому, что больше – не будет. – Она снова откидывается на спину и молчит. Минуту, две...

– Хорошо, что ты не говоришь со мной, как все: ты еще молодая, у тебя все впереди, жизнь прекрасна. Я и сама знаю. Ты тоже думаешь, что я маленькая и можно меня за ручку – как сегодня.

– И что в этом плохого?

– Ничего. Просто это значит – как все.

– Нет, об этом можешь не беспокоиться, ты ведь – Симонетта, и я слишком хорошо тебя знаю. И слишком давно...

– И об этом ты мне тоже расскажешь, ладно?

– Ладно. Но сначала – ты. Ты ведь начала про...

– Про то, что все люди разные.

– Нет, про то, что ты понимаешь почему... Так – почему?

– Ты не согласишься и будешь смеяться. Ну и пусть... Скажи, чего на свете больше всего? Ну, вот ты смотришь вокруг, и что ты видишь? Чего – больше всего?

– Тебя...

– Конечно... Но я не об этом. Я – о мире вокруг.

– Так и я о том же. Тебя...

– Нет, Сандро! Неба! Больше всего – неба. Всегда. Всегда и повсюду, для всех.

– Хм, допустим. И что из того?

– А то из того! Я, сколько себя помню, всегда любила на

него смотреть, вверх. С детства.

– Ну, это недавно...

– Пусть. Все равно... Я ведь родилась в России. Есть такой городок недалеко от Питера, то есть от Санкт-Петербурга, – Выборг. Вот там. Это почти север России. Потом училась в Москве, стажировалась в Европе... Я много ездила, и ты не думай, что я совсем, ну... неопытная.

– Я так не думаю... Так что, все дело в небе? Небо виновато?

– Да. И ты зря смеешься. В каждой стране небо разное. Поэтому и люди разные, понимаешь? Русские не такие, как французы, итальянцы отличаются от немцев. Вот, например... Небо Франции – оно легкомысленное, веселое, безмятежная лазурь, а на ней – штрихи, мазки, птичьи всплески – сплошной импрессионизм. В России – глубокое, как колодец, синева молчалива, а на дне может быть и счастье, но вдруг – тяжесть и нечем дышать...

– Ты – умница... А какое оно здесь?

– Такого, как здесь, я не видела никогда. Такого близкого мне. Такого моего. Это – как нежный голубой взгляд, обращенный вовнутрь, в себя, – небо словно любит себя, и эти кудрявые облака... Мне все кажется, за каждым прячется маленький ангел, похожий на ребенка. Как на старых полотнах. Такой упитанный, в кудряшках...

Она улыбается, а я наклоняюсь над ней, беру ее руки и целую. Кончики пальцев, ладони, тонкие запястья – ниточка

пульса под нежной кожей. Потом я чувствую губами солоноватый привкус ее пота в локтевой ямке и закрываю глаза...

Сима сначала сосредоточенно сопит, затем начинает сдавленно хихикать и вдруг заливисто смеется – уже не сдерживаясь – хохочет и хохочет, до слез, задыхаясь от смеха и с трудом выговаривая:

– Ой, пусти... отпусти, Сандро... Это ужасно... щекотно...

И я отпускаю ее – наконец...

Когда я впервые увидел Симонетту, ей едва исполнилось двадцать.

Прием был в самом разгаре, она стояла рядом со старшим из герцогов, посредине всего этого великолепия и отвечала на приветствия. Она с любопытством оглядывалась, кивала гостям, произносила несколько вежливых слов, потом поворачивалась к мужу и что-то тихо ему говорила... Легкая улыбка и рыжеватая прядь, спадающая на ее точеное нежное плечо...

Едва увидев ее, я понял, что это – навсегда. И сразу, в ту же секунду, захотел ее – писать. Любую – в парадном платье, зашнурованном наглухо до самого подбородка, в тонкой батистовой сорочке, сулящей много больше, чем скрывающей, даже – невозможно поверить – нагую...

– Хочу представить вам одного из самых известных наших живописцев, Сандро Боттичелли. Синьор Боттичелли,

синьор Марко Веспуччи и его супруга – синьора Симонетта. – Лоренцо склонил голову набок и улыбнулся.

– Синьора, – кланяюсь я.

– Синьор Боттичелли, – произносит она и улыбается – не мне.

Так вот что это такое – тоска...

В восемь лет я впервые побывал в галерее. Это была галерея Уффици, и из этого посещения я не запомнил ничего. Ничего, кроме того, что впервые увидел ее – мою Симонетту. Разумеется, она никогда не была моей, да и ничьей она не была. Женщина-мечта, женщина – пена морская.

Вокруг толпились люди, смотрели, долго не отходили, и когда я наконец пробрался вперед... Сначала я увидел раковину – я сам собирал такие, только поменьше, во время наших поездок к морю. Потом прочел надпись на табличке – «Сандро Боттичелли. Рождение Венеры». А потом... Потом я поднял глаза и увидел...

Она... Она действительно была богиней. Нежная, неземная, невесомая. Венера по имени Симонетта. Конечно, не мог восьмилетний мальчик Сандро понять все то, что хотел передать Сандро-художник, но, пусть неосознанно, я ощутил его вечную тоску. Понимание пришло позже, но она – эта тоска – поселилась во мне тогда. Она – это невозможность овладеть красотой. Невозможность ею владеть. Не любовь – глубже, страшнее. Вечность – и один благосклонный взгляд.

Может ли мужчина предложить больше?

Так может быть, мое имя – не случайно? Я – Сандро.

И значит, она всегда должна быть рядом – моя Симонетта...

Я постелил ей в родительской спальне. Сквозь прорехи между балками заглядывала Малая Медведица. Ночь была теплая. Сам я устроился рядом, в соседней комнате, и, перед тем как провалился в сон, – видение? Сима – тоненькая, в короткой ночной сорочке, ее легкий поцелуй в щеку, пожелание спокойной ночи... И – уже в полусне – последняя отчетливая мысль: какая же она вся-вся – моя...

Меня разбудило пение птицы – одна-единственная короткая трель, музыкальная фраза, бесконечно повторяемая на все лады. И я вышел ей навстречу, на крыльцо, встречать восход. Уселся на гладкие каменные ступени, посмотрел на восток. С первым лучом солнца я почувствовал – рядом и сзади – ее, Симу. Вот она неслышно подходит, садится, обхватывает руками колени и кладет на них голову. Улыбается, смотрит на солнце, молчит.

– Еще очень рано...

– Пусть... Зато хорошо. Мне всегда жалко времени, когда хорошо...

– Ты в самом деле уверена? Правда – хорошо?

– Да, очень.

– И отчего же?

– От красоты. От того, что здесь – тихо. Оттого, что – дом...

– Но ты – чужая, ты же с севера. Что тебе эти холмы?

– Не знаю... Мне кажется... Я еще никогда не думала о старости, о смерти, а сейчас вдруг... Я вдруг поняла: есть места, где хотелось бы умереть...

– Тебе – умереть? Что за глупости...

– Не глупости, не глупости. Умереть не для того, чтобы не жить. Умереть для того, чтобы обрести покой. А обрести покой здесь, среди такой красоты, – что может быть лучше?

– Вот как. Обрести покой...

– Все ищут покой. И ты тоже. Разве нет?

Я наконец поворачиваюсь и смотрю на нее.

Волосы спутаны, ласковое, утреннее, чуть припухшее со сна лицо. Яркие – вот-вот брызнут соком – губы. Открытые плечи, еще не тронутая солнцем грудь...

Зачем она здесь? После стольких лет тоски – что мне в этих словах, в этих губах, в этом теле? Разве можно утолить мой голод, которому столько лет? Взять ее сейчас – легко. Взять, выпить... А что потом? Вечность – ведь это колодец без дна. Бросишь камушек – и ни звука в ответ...

– Ты – Симонетта. Ты – мой камушек. Я тебя...

Но я молчу.

...Солнце вылупилось из-за горизонта, залило холмы, потекло по горным тропинкам, пришло в город и затопило его

весь. Всю Флоренцию.

Снова, как всегда, настало утро...

– Симонетта, одевайся, нам пора. Летиция ждет нас к завтраку...

Здесь тихо. Грубые полотняные скатерти, простая еда, теплый хлеб. Летиция – моя кормилица, моя крестная мать. Я помню ее столько же, сколько помню себя. Она просто была – всегда. Так же, как и улыбка на ее широком добродушном лице. А еще – обжигающий кофе и болтовня сквозь смех. У нее восемь детей, и она рассказывает про каждого отдельно. Четверть часа – и они говорят с Симой так, словно она выкормила и ее тоже.

Потому что – как же можно не любить Симонетту?

Когда они спускаются в сад, я вижу ее, пронизанную солнечными лучами, и не верю сам себе – неужели, неужели я ее нашел? Все-таки – нашел...

Теперь – лишь бы не потерять.

Она любила другого и рано, очень рано умерла. В этой фразе – моя судьба и эта бесконечная тоска.

Я не попробовал ее – женщину, зато я ее писал. Я писал ее всюду и всегда, всю жизнь. Я обессмертил свое имя, рассказывая о своей любви к ней. И какой в этом толк? Ведь я так ее и не вкусил.

Хотя порой мне кажется: испробуй я ее, не смог бы ее пи-

сать. Потому что исчезла бы тайна. Впрочем, если бы она не умерла от чахотки, я бы ее, конечно, убил. Ибо – так желать...

Но я пишу, пишу...

Кости ее давно истлели, губы превратились в прах, а люди приходят и говорят: «Поглядите, какая Венера». Я сумел продлить ее жизнь, я сделал ее вечной. Но вот уже сотни лет я просыпаюсь по ночам в холодном поту с ее именем на губах – Симонетта.

Мое неиспитое вино...

Я с детства не такой, как все, другой.

Сначала я не понимал отчего. Потом... Потом я начал искать гармонию, а находил... Особенно трудно было с женщинами. Не знаю почему, но они тянулись ко мне всегда. Может, потому, что каждая, пусть не ведая, надеялась оказаться Симонеттой. Сколько их было...

Они появлялись ненадолго и исчезали навсегда. Моя неутолимая жажда вела меня дальше – к тем, кто приходил следом. Никто из них не прошел через мое сердце, мне нужна была Симонетта.

Пока я не встретил Мию.

Пусть ненадолго, она меня победила. Она смогла заслонить Симонетту, и я испугался.

Не сразу, а когда понял...

Мы просто ехали в Ниццу. Я так хотел показать ей голубые камни на побережье.

...когда я вылез по склону обратно на шоссе, на мне не было живого места – кровоподтеки, синяки, ссадины. Потом, в больнице, даже нашли трещину в голеностопе. Целых три недели на костылях и в гипсе. Мия почти не пострадала внешне, она лежала рядом с машиной ничком, уткнувшись лицом в траву. Когда до нее добрались, она была... она умерла. Всего-то одна-единственная глубокая рана на левом виске – случайный камень, и... Это было проще всего – я подобрал его накануне, чтобы он был под рукой – когда... Рассказывать – долго... Разбить бутылку масла вблизи от края дороги, пересадить Мию на место водителя, придавить булыжником педаль газа, выпрыгнуть и прокатиться вниз несколько десятков метров... Вот и все. Зато Симонетта вернулась ко мне навсегда. Это главное, а значит, и я не мог поступить иначе, ведь в моем сердце есть место только для одной женщины, и предать ее – означало бы предать красоту, предать мою любовь и мою тоску. Хорошо, что Мия умерла. Да и не умерла она вовсе, я ведь так часто вижу в толпе ее лицо, слышу ее голос... Особенно когда вновь проезжаю это место почти на самой вершине. Невозможно описать прелесть этих округлых красно-зеленых холмов. Тот, кто не видел, не поймет. Но если хоть однажды...

Через несколько лет я женился. Она сказала, что беремен-

на от меня, и я поверил. Я привык к ней и к ребенку и даже расстроился, когда она меня бросила. Впрочем, все это было не важно, ничто не мешало мне искать и любить Симонетту. Желать ее – безумно.

И вот теперь...

Нет, я все еще не могу поверить до конца, что эта маленькая Сима, девушка с ускользящим взглядом, и есть моя выстрадавшая и все-таки появившаяся любовь.

Понимаете, я так долго ждал, что никак не могу ошибиться.

Именно поэтому я ее не трогаю. Ведь если я ошибся и Симонетта вновь ускользнула от меня, на что мне эта восхитительная плоть?

– Избавься от нее, – шепчет мне кто-то внутри – и делается так страшно...

Целых пять столетий одиночества – немудрено, что я так недоверчив.

– Избавься от нее. Избавься. Горная дорога, вино, которое впитало так много солнца. А потом снова – вечное томление, вечное ожидание Симонетты, и никто никогда не сможет тебе помешать.

Желать – ее...

Днем мы поехали во Флоренцию.

На Симе легкое белое платье и босоножки из тонких золотистых ремешков. Я веду ее на самый верх, обзорная пло-

щадка – всего четыреста одиннадцать ступеней, и мы в небе.

– Смотри, теперь весь этот город – твой...

– Сандро, понимаешь, я ужасно боюсь высоты.

Она стоит, прижавшись к стене и не поднимая глаз.

– Ты ошибаешься. Ты боялась высоты, да. Но с тех пор, как ты со мной, как мы – вместе, твой страх прошел. Потому что сейчас ты уже научилась летать. Ты ведь и сама это знаешь, правда? Вот эта пропасть перед нами – сделай шаг, и полетишь.

Она смотрит на меня недоверчиво, поднимает руку и кладет ее мне на грудь – слева.

– А это зачем? – смеюсь я.

– Пусть твое сердце скажет мне то же, что и твои губы...

– Ты... ты не доверяешь моим губам?

– Тс-с-с... – другой рукой она накрывает мне рот, и – непроизвольное движение – поцеловать ее легкую, прохладную ладонь... – Я слушаю твое сердце...

Тепло от ее руки поднимается вверх, к лицу, к глазам, заливая их, превращается в жар. Его так много, он обжигает, начинают слезиться глаза и...

– Хорошо. Это хорошо, Сандро. Ты плачешь, значит – испытываешь боль, значит – любишь. А тому, кого любишь, лгать невозможно. – Она убирает руку, и я ощущаю в этом месте пустоту.

– Ты забрала мое сердце.

– Нет, я забрала только твою тоску...

– Но откуда ты знаешь?..

– Я – женщина, Сандро.

– Я хочу твою руку тут – всегда.

– Она вернется, я обещаю...

Сима отрывается от стены, подходит к парапету и заглядывает вниз – на лежащий под ногами город.

– Вот видишь, я же говорил. Страх прошел...

– Нет, милый, он не прошел, он по-прежнему внутри. Но ты – сильнее страха.

– Мы ведь знакомы всего несколько часов. Ты уверена? Ты уверена во мне?

– Я уверена в себе. Над нами небо Тосканы, и я знаю, что смогу... – она оборачивается, и ее взгляд впервые направлен на меня – прямо в сердце.

– Расскажи мне про город, Сандро. Про мою Флоренцию...

Мы просто бродили, и я показывал ей город таким, каким знал его с детства – его пропитанные солнцем, горячие камни. Я рассказал ей про Симонетту и Джулиано и даже про Сандро – не все, но многое. Только про Мию – нет. И все же еще никогда и ни с кем я не говорил – так. А Сима – она прижималась ко мне горячим бедром, слушала и улыбалась, напевала и пританцовывала. И все время, все время не сводила с меня глаз.

Мы вернулись затемно, и – еще в саду – ее лицо, ее закры-

тые глаза оказались так близко, а ее губы выдохнули: «Да-а-а...» и раскрылись...

Нежность – самая губительная форма страсти.

Я гладил Симонетту по лицу и укачивал – как ребенка.

Я не могу ошибиться... Мия должна мне помочь, она ведь еще жива, она дышит, она всегда рядом. А Сима... Сима – это другое. Она не рядом, она – во мне. И если я ее потеряю, выходит, я потеряю себя, правда?

Я пью ее и не могу напиться – пятьсот лет жажды утолить невозможно. Я так боюсь, ведь тогда снова вернется тоска. Я обнимаю ее изо всех сил, прижимаю к себе и вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, уже почти задремав, говорю:

– Давай завтра поедем в Ниццу? Прямо с утра. Там дивные голубые камни на побережье. Таких нет больше нигде, ты увидишь. А какая чудесная дорога, помнишь? Особенно тот поворот, почти на самом верху, откуда потрясающий вид на холмы. Возьмем с собой корзинку с едой – хлеб, сыр, виноград. И обязательно бутылку вина, белого вина, в нем так много солнца. Поедем?

Я чувствую ее тело и слышу ее сонный голос:

– Не хочу в Ниццу... Никуда не хочу... Хочу тебя... Давай лучше останемся дома и весь день не будем вылезать из постели... А сейчас – спать... спать...

Мия молчит... Раньше я всегда слышал ее смех, ее голос. И знал, что делать. Отчего она молчит? Неужели смерть все-таки взяла свое и она покинула меня совсем? Я убил ее – да. Или... Нет, не помню... И значит, Симонетта наконец снова осталась одна, и никто не может мне помешать любить ее, как раньше, только ее одну. Тогда... Может, это и правда возможно – остаться дома. Как бы мне этого хотелось... Может, у нас получится, а? Как вы думаете?

Впервые за пятьсот лет.

Просто остаться дома...

Привет, счастливчик!

Как сказать, с чего все началось?

Просто. Женщина летела в Геную. Есть такой портовый город в Италии, не похожий ни на какой другой. Он лежит, как рыба, выброшенная на берег, и тяжело дышит, подставив солнцу соленый бок. Копит силы, готовится к прыжку обратно туда – в море. Вращает круглым холодным глазом – маяком. И плавники его буры от песка и крови.

Генуя... Женщина летела туда, хотя ее там никто не ждал.

– Что за бессмыслица? – восклицали ее самые близкие подруги. – Лететь куда-то за тридевять земель, в этот грязный портовый город – одной. Тебя ведь там и не ждет никто. Не ждет?

– Не ждет, – соглашалась она и упрямо наклоняла голову, так низко, что обнажалась шея под завитками мягких волос на затылке, где всегда тень и шелк.

– Тогда зачем?

Она не спорила. Просто смотрела на них темными от осени глазами и улыбалась. Немного, едва-едва. Вот как на этой самой фотографии, да.

Все рейсы из Рима в Геную были отложены – она даже толком не поняла, из-за чего.

– Надо же, – сказала она самой себе, – и здесь сентябрь. Пролететь полмира и снова угодить в сентябрь. Может быть, хотя бы в Генуе весна.

У римского аэропорта было имя – Леонардо. Ну, так его звали. Ей это понравилось, потому что она верила в переселение душ и прочую ерунду. Тому, кто верит, – проще. Наверное, поэтому она так часто улыбалась. Из-за этой самой улыбки все и случилось. Почти случилось...

Мужчина внимательно посмотрел на себя в зеркало и, смочив ладони туалетной водой, приложил их к лицу. Похлопал по щекам, посмотрел на пальцы – нет, вроде не дрожат. Ну почти, а почти не считается. И голова свежая. Врут, все врут насчет алкоголя...

Он хотел было сказать своему отражению что-то еще, но раздумал.

Через четверть часа он вышел из своей одинокой квартиры в туман и отправился в аэропорт. Скорее всего, чтобы встретить именно ее – Наташу. А для чего же еще?

Этот мужчина – я.

На самом деле ничего этого не было.

Но какая разница, если мы с ней все-таки встретились.

– Мне просто необходимо попасть сегодня в Геную. Это очень важно. При чем здесь забастовка? Какая забастовка? У меня же билет...

– Мадам, компания приносит вам свои извинения, – девушка за стойкой улыбнулась и пожала плечами. – Мне в самом деле очень жаль, но мы ничего не можем сделать, это профсоюз. Такое иногда случается, – она посмотрела на стоящую перед ней женщину и после крохотной паузы добавила: – Не думаю, что это закончится раньше полуночи, но если хотите, я могу записать ваше имя, вдруг появится какая-нибудь возможность, тогда мы вам сообщим.

– Конечно, запишите, спасибо. Наташа, Наташа Лурье. Я из Монреаля, это Канада.

– Да, мадам, я знаю, – дежурная снова улыбнулась и добавила: – Будем надеяться, что вам повезет.

– Уже. Вам уже повезло. Потому что я там живу.

Мягкая замшевая куртка, шарф, на голове черная бейсболка. Глаз из-под козырька почти совсем не видно, впалые щеки. Среднего роста. Он стоял справа, у торца стойки, и обращался именно к ней.

– Через пару часов, даже меньше, вы можете быть в Генуе. Конечно, если захотите. Хотите?

...шли по летному полю, и я смотрел, как она придерживает руками плащ и ветер. В ней не было ничего особенного, может, только улыбка. Еще, конечно, имя. Вернее, то, как она его произнесла там, у стойки: Наташа. Наташа Лурье. Совершенно незащитно, по-детски, словно отвечала на вопрос учителя. Ну как можно было пройти мимо?

– Это правда ваш самолет? На самом деле? Он ужасно похож на веретено или на рыбу с огромными добрыми глазами. Просто красавчик.

– Иногда я называю его и так тоже. По настроению.

– А как еще? У него обязательно должно быть имя.

– Обычно я зову его «Аванти мио». Когда мы встречаемся, я говорю ему: «чао». Когда прощаемся: «грации».

– Аванти – ведь это вперед, да? Ему идет.

– Это его настоящее имя, которое он получил при рождении.

– А вы? Какое имя при рождении получили вы? Мое вы слышали – Наташа.

Я киваю.

– Верно. А я... Можете называть меня Счастличик – не ошибетесь.

– Хорошо. Но почему?

– Потому что так и есть. Я умею делать то, что люблю, и могу себе это позволить. И все то, что я люблю, у меня есть. Ну почти... Хотите со мной в кабину?

Он указал мне на правое кресло и подал руку. Помог пристегнуться и надеть наушники.

– Зачем? – спросила я.

– Чтобы было интересней. Сами увидите, – затем ловко скользнул на свое место и начал нажимать разные кнопки. В

наушниках раздалась почему-то английская речь, в которой я не поняла ни слова, но один из голосов оказался его. Потом заработали двигатели, и мы куда-то поехали. А когда остановились, я услышала: «Наташа, дайте руку. Не бойтесь, не бойтесь, ну...». Счастливчик взял мою левую руку, положил ее на какие-то рычаги между нами и накрыл своей. Улыбнулся, и я увидела, что глаза у него, оказывается, оливкового цвета. Он произнес: «Аванти!», и рычаги вместе с нашими руками ушли вперед, а бетон перед нами побежал назад, все быстрее и быстрее, и я вдруг перестала видеть землю. Мы – взлетели...

...Мы взлетели. В кабине стоял запах моря и вина. Молодого белого вина – теплого, еще живого винограда, в котором вкус солнца и любимой женщины. И не говорите, что кабина герметична и этого не может быть, – это так. Над морем я положил самолет на правое крыло и сказал ей: «Смотрите, Наташа, внизу, вон там – Рим».

Она сидела справа от меня и улыбалась.

Мы летели в Геную.

Мы летели в Геную, и я наконец-то поняла – зачем. Где-то я прочла однажды, что счастье – это такая болезнь, которой очень трудно заразиться. Но, может, все-таки удастся?

– Смотрите, Наташа, внизу, вон там – Рим.

Мы летели над морем...

Все дело в том, что я пошел в свою мать, другого объяснения не нахожу. Впрочем, уже давно и не ищу. Отец всю жизнь занимался одним – делал деньги. Скупал компании, расчленил, продавал, покупал снова – без конца. И спал и видел, что я займусь тем же самым. Но мне хотелось летать – больше всего на свете. И я научился и даже получил лицензию коммерческого пилота – на его деньги. А мать... Она была способна смотреть на звезды, на море – часами. Просто стоять, и смотреть, и думать о чем-то своем, не произнося ни слова. У нее были глаза цвета спелой вишни. Отец так ее и называл – моя вишенка. Она любила его. Откуда я это знаю? Очень просто: когда он ушел, она стала пить. Сначала – чтобы забыть. Потом уже не могла остановиться. Она высохла и пожелтела. И умерла всего через пять лет после развода. Итальянское вино – страшная штука. Хотя... все врут насчет алкоголя. Руки – они ведь почти не дрожат, а почти не считается. И они вновь и вновь ложатся на штурвал – каждый раз, как впервые.

Да и как это возможно, летчику – пить?

А вскоре погибла Ро.

Я ни разу не слышал, чтобы кто-то назвал ее полным именем. Она просто не успела дожить. Оно написано только на ее могиле: «Роберта (Ро) Бартоли». Ей едва исполнилось двадцать два. Шесть из них она была моей. До нашей сва-

дббы оставался месяц.

В тот самый день, когда она не стала моей женой, отец сказал мне: «Плачь не плачь – Роберту не вернешь. Ты еще молод, тебе только двадцать восемь. Надо жить. Надо жить дальше». Он не понимал, что этого я как раз не хочу совсем. Но он был мой отец, он был стар и мудр, как змей, и я его услышал.

Я перестал плакать и стал пить. Сначала понемногу и только вино. Тогда я еще не знал, что вино – это самые горькие слезы. Ведь с чего начинается новая зависимость? С потери старой. Эта огромная дыра в груди, которая всегда голодна... Ее надо кормить. Все время.

И какая, в сущности, разница – чем...

Под нами Генуя. Самый обычный, как все, город. Вот разве что море. Разве что маяк. Берег, похожий на плавники, бурые от песка и крови. Знать бы еще, что она собирается тут делать? Зачем она здесь? И зачем с ней я?

– Вон маяк. Видите?

– Еще бы. По-моему, он виден даже с другого конца света.

– Это ля Латерна. Ей почти тысяча лет.

– А почему ей? Маяк же – он.

– Но у него женское имя, и это ведь неспроста. Кто лучше женщины способен позвать мужчину, указать дорогу домой? Вам это известно никак не хуже меня, правда? Вот и здесь, сейчас я оказался именно из-за вас. За тысячу лет мало что

изменилось. Ля Латерна продолжает указывать дорогу.

– А вы не только летчик, Счастливчик. Вы поэт.

– В ближайшие минуты будет важно, какой я летчик. Мы садимся, Наташа. Она под нами...

Город упрятан между горами и скрыт облаками, ты почти пролетаешь мимо. Но вот самолет ложится на крыло, и долина раскрывается цветком, а в ногах ее – море. И значит, это в самом деле она – Генуя.

В этот момент наушники вновь ожили, и зазвучала та же непонятная английская речь. Счастливчик слушал, что-то говорил сам, снова нажимал разные кнопки и щелкал переключателями – ему было не до меня. Потом раздались какие-то звуки, шум ветра снаружи изменился, и самолет почти остановился в воздухе – во всяком случае, мне так показалось.

Не глядя на меня, он произнес:

– Если хотите по-настоящему удивиться и получить удовольствие, не смотрите вперед. Смотрите направо, на воду, не пожалеете.

Конечно же, я сделала, как он сказал. Справа было только море и ничего больше. Мы снижались, водная поверхность приближалась все больше, летела мимо все быстрее. Суши не было и не было, я решила, что мы садимся на воду, а ведь у самолета нет поплавков, и в тот самый момент, когда мы должны были ее коснуться и я от страха хотела зажмурить

глаза, внизу промелькнул берег, бетонные плиты побежали навстречу, самолет словно завис над ними, не желая возвращаться на землю, чуть поднял нос, и я ощутила едва заметный толчок – мы приземлились...

... – Наташа, а я ведь не самый плохой пилот на свете, – его глаза смотрели на меня, и он смеялся. – На самом деле неплохой. А почти – оно ведь не считается, верно?

И я киваю и смеюсь в ответ его оливковым глазам, и внутри у меня начинают петь птицы. Я уже знаю, чувствую, я даже почти уверена, хотя как он только что сказал? Почти – оно ведь не считается, верно?

Она засмеялась, и я увидел, что она красива.

Но удивляет меня до сих пор совсем не это, потому что, когда тебе перевалило за сорок, то уже... И вспоминаю я не ее фигуру, ее тяжесть, гладкость и аромат ее кожи – а как она засмеялась тогда, мне в ответ. Ее прижатые наушниками светлые волосы и серые туманные глаза. Вот как на этой самой фотографии, да.

Впрочем, и ее тяжесть тоже.

И это не имеет ровно никакого значения – я ведь уже сказал, что на самом деле ничего этого не было. Не случилось. Просто не случилось, и все.

Только ей я об этом не рассказываю.

Никогда.

– Хотите, я покажу вам город?

Именно с этих слов все и началось.

В воздухе нет права на ошибку, хотя они все же случаются, и тогда чаще всего уже некого спросить: почему?

А на земле? Оказывается, что бутылка кьянти или мерло – единственно она и может ответить. Да и то если сама захочет.

На самом деле мне почти все равно, что пить, потому что все решает одно-единственное короткое мгновение – за секунду до – когда наконец-то можно почувствовать себя слабым. И поддаться, чтобы заглушить эту привычную ненависть – к себе, к этой самой слабости и даже к Ро, за то, что умерла.

Я откупориваю бутылку и наполняю бокал, и вино раскачивает его, глядя на меня глазами-виноградинами, и говорит со мной обо всем – о вечности, о Ро и еще о том, как же я все-таки похож на свою мать.

Потом – не помню, но только хочется еще и еще.

И даже небо, даже оно уже не спасает.

...Собственно, почему бы и нет? Она ведь всего-навсего красивая женщина со странной улыбкой и именем Наташа.

Вот именно.

– Хотите, я покажу вам город?

– У меня в жизни постоянно что-нибудь случается, я привыкла. Это трудно объяснить. Мне просто надо было сюда

приехать, и все. Пока что я и сама не понимаю до конца – зачем. А слушаю себя и не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что не вижу в этом никакого смысла. И когда что-нибудь такое приходит в голову и не отпускает, я верю... Ведь все вокруг неслучайно, правда?

– Не знаю. В жизни иногда происходят странные вещи. Странные и необъяснимые. Страшные. И, оглядываясь назад, понимаешь, что лучше было не доверять, не принимать никаких решений, не шевелиться. Может, небо бы и не рухнуло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.